

ЭЛЬ КРАВЕН

РАЛЛИСТ ИЗ БУДУЩЕГО



«МОСКВИЧ» ПРОТИВ МИРА

18+

Эль Кравен

**Раллист из будущего.
«Москвич» против мира**

«Автор»

2026

Кравен Э.

Раллист из будущего. «Москвич» против мира / Э. Кравен —
«Автор», 2026

В 2026 году я разбил восстановленный «Москвич» на испытаниях и очнулся в 1970-м, в теле молодого заводского гонщика Виктора Серова. Впереди главное ралли эпохи: Лондон—Мехико, двадцать пять тысяч километров, три континента и команда, которая считает меня безнадёжным запасным. Я помню будущее этой гонки, но не каждую дорогу. Знание грядущего не чинит коробку на обочине, не удерживает машину над пропастью и не заставляет штурмана поверить пилоту, привыкшему решать за всех. Чтобы привести советский «Москвич» к финишу, мне придётся собрать экипаж из тех, кого уже списали, заставить заводское начальство рискнуть и пройти гонку, ломающую людей раньше машин. Но главный соперник ждёт не на трассе. Это ошибка, которую я уже однажды совершил — и которая стоила жизни моему штурману.

© Кравен Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Машина из прошлого	5
Глава 2. Запасной, которого нет	14
Глава 3. Три часа на пределе	25
Глава 4. Экипаж из списанных	38
Глава 5. «Москвич» для конца света	51
Глава 6. Билет на «Уэмбли»	63
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Эль Кравен

Раллист из будущего.

«Москвич» против мира

Глава 1. Машина из прошлого

Ступичный подшипник запел на сто сорок третьем километре в час — негромко, почти деликатно, словно не хотел мешать съёмочной группе заканчивать дорогой рекламный ролик. Зимняя резина шумела сильнее, мотор держал пять с половиной тысяч, из-под днища по каркасу шла мелкая дрожь, однако я всё равно услышал в общем гуле новую ноту. За тридцать лет возле гоночных машин начинаешь различать такие вещи раньше приборов. Человек ещё убеждает себя, что показалось, а спина уже знает: где-то справа созревает неприятность.

Я убрал ногу с газа и вывел красный «Москвич» из длинной левой дуги. Машина сразу присела на переднее колесо, гул сделался ниже и пропал. Стоило снова дать нагрузку — вернулся. Не коробка, не редуктор и не шипы по подмёрзшему асфальту. Правая передняя ступица или подшипник. В лучшем случае он просто перегрелся от неправильно выставленного зазора, в худшем на внутренней обойме уже крошилась дорожка. Для обычной машины это означало записаться в сервис. Для автомобиля, который через час собирались разгонять перед тремя камерами, — закончить испытания.

Я поднял левую руку, показывая посту, что схожу с круга, и на прямой переключился на четвёртую. Рычаг был длинный, тонкий, с чёрным набалдашником, как и полагалось машине 1970 года. Реставраторы спорили из-за каждой гайки, искали правильную ткань для сидений, заказывали приборы по фотографиям и даже сохранили дурацкое расположение выключателей под панелью, но каркас всё-таки сварили новый. На этом настоял я. Историческая достоверность хороша, пока её не приходится вырезать из твоих рёбер гидравлическими ножницами.

У белого фургона меня уже ждал Роман Белов, хозяин машины и человек, который последние четыре года произносил слово «проект» чаще, чем имена своих детей. На нём была короткая пуховая куртка, слишком чистая для полигона, и беспроводная гарнитура, через которую его одновременно дёргали режиссёр, оператор с дрона и кто-то из московского офиса спонсора.

— Почему снялся? — спросил он, едва я заглушил двигатель. Потом вспомнил, что дверь у реплики открывается только снаружи, и потянул за ручку. — У нас солнце через двадцать минут уйдёт. Макс говорит, нужен ещё один быстрый проход.

Я отстегнул четырёхточечный ремень, выбрался из тесного кресла и только тогда ответил: — Справа спереди загудело. Поддомкратить, снять колесо, проверить ступицу.

Роман посмотрел на «Москвич» так, будто тот нарушил условия договора. Красная краска, белый круг с историческим номером двадцать восемь, четыре дополнительных фары на носу, чёрный капот — машина выглядела лучше, чем имела право после полугода сборки и двух дней жёстких тестов. На расстоянии никто не видел, сколько под этим блеском современного крепежа, сколько деталей пришлось подгонять вручную и сколько старого металла могло решить, что сегодня с него хватит.

— Температура нормальная? — Роман обошёл машину, не нагибаясь.

— На датчиках всё нормальное. Подшипник не обязан сначала прислать тебе сообщение.

— Может, резина? Здесь лёд кусками.

— Может. Сейчас поднимем и узнаем.

Из фургона вылез Лёша Ким, наш механик, прихватив куртку и планшет. В тридцать два он считал провод от датчика полноценным доказательством, а собственные пальцы — устаревшим измерительным прибором. Парень был толковый, просто вырос в эпоху, когда любой звук полагалось сперва превратить в график.

— Давление в шинах ровное, вибрация по ступицам без пиков, — сообщил он, прокручивая экран. — Справа температура на четыре градуса выше, но мы только что шли левую дугу. Нагрузка была на неё.

— Именно.

Лёша понял, нахмурился и всё-таки присел возле колёса. Я принёс низкий домкрат, он сунул под порог упор, и вдвоём мы вывесили правую сторону. Колесо вращалось свободно. Без хруста, без явного люфта. Только один раз, когда я медленно провернул его ладонями, внутри что-то коротко шоркнуло и снова затихло.

— Колодка, — сказал Лёша.

— Или обойма.

Он взялся за шину сверху и снизу, покачал. Люфт укладывался в старые заводские допуски, которые позволяли деталям жить собственной общественной жизнью, лишь бы они не покидали автомобиль. Роман облегчённо выдохнул и сразу прижал палец к гарнитуре.

— Максим, пять минут — и готовы. Да, всё нормально. Андрей услышал камень в про-
текторе.

Когда я поднялся, колено закусило так, что пришлось на секунду опереться о крыло. Лёша заметил, конечно, но промолчал и занялся домкратом. В тридцать два года ещё кажется, будто сорок девять — это просто цифра в паспорте, которая к машине отношения не имеет. Я в его возрасте думал примерно так же.

— Можно вскрыть и посмотреть смазку, — сказал он, не поднимая головы. — Только тогда колпак снимать, гайку, саму ступицу. Обратно за пять минут не соберём.

— Значит, не соберём. Поднимай обратно.

Роман дождался, пока колесо коснётся асфальта, закончил разговор в гарнитуре и подошёл уже не спрашивать. По его лицу я понял это раньше, чем он открыл рот.

— Один проход, Андрей Николаевич. Не круг: стартуешь от дальней шпильки, проходишь камеры и сразу тормозишь. Полтора километра. Нам рекорд не нужен, только кадр. Ты же сам говорил, что машину перебрали целиком.

Имя-отчество он произнёс осторожно, почти уважительно. Так Роман разговаривал, когда понимал, что просьба дрянь, но очень хотел получить согласие. За его спиной оператор переставлял штатив ближе к сугробу, режиссёр в синей парке ругался на уходящий свет, а дрон всё ещё лежал на кофре. Сам заезд и правда занял бы меньше минуты. Если из ступицы только выдавило смазку, доживёт. Если начала сыпаться обойма — тут уж как повезёт.

И тут я поймал себя на том, что уже прикидываю расстояние до камер и место для торможения. Минуту назад я собирался машину глушить.

— Снимаем ступицу, — сказал я. — Сегодня уже всё.

Роман прикрыл глаза. В гарнитуре кто-то заговорил так громко, что я различил отдельные матерные согласные.

— Солнце завтра никто не обещал. Полигон оплачен сегодня, техника оплачена сегодня, команда из Москвы приехала сегодня. Если мы сейчас разъедемся из-за звука, которого нет на данных...

— Я его слышал.

— Кроме тебя — никто.

Лёша перестал смотреть на планшет. Роман тоже понял, что сказал лишнее, но отступить при подчинённом не захотел. Люди вообще редко въезжают в стену сразу. Сначала они проезжают один маленький знак, потом второй, а когда появляется бетон, уже неудобно тормозить.

Я мог вытащить ключ из замка и уйти. Роман бы покричал, режиссёр написал бы спонсору, ещё один человек назвал бы меня старым капризным мудаком. К утру ступицу разобрали бы, нашли или не нашли след на обойме, и жизнь продолжилась. Вместо этого я посмотрел на трассу, где свет действительно уходил с каждой минутой, потом на красный автомобиль с номером двадцать восемь и почувствовал давно забытое раздражение. Не страх. Хуже — желание доказать, что я не боюсь.

Двадцать лет назад оно уже однажды село рядом со мной в машину.

— Полтора километра, — сказал я. — Камеры ставите за ограждением. На внешней стороне дуги людей быть не должно. Если услышишь рост вибрации, — я повернулся к Лёше, — сразу говоришь по радио. Не обсуждаешь, не сверяешь график. Говоришь.

Он кивнул, но без облегчения. Толковый всё-таки парень, потому и понимал: короткая дистанция не делает неисправную ступицу исправной.

— Может, не надо? — спросил он, когда Роман отошёл к режиссёру. — Я серьёзно.

— Уже спросил бы до того, как начальник обрадовался.

— Я думал, вы пошлёте его.

— Я тоже.

Лёша усмехнулся уголком рта и протянул мне шлем. На подбородочной лямке болтался маленький потёртый компас. Он не работал лет пятнадцать и вообще не должен был висеть на гоночном шлеме, но я каждый раз переставлял его со старого на новый. Кирилл купил этот компас на заправке перед нашей первой большой пустынной гонкой. Стрелка врал уже тогда, зато сам Кирилл почти никогда — кроме одного раза, когда ошиблась не стрелка и не он.

В «Москвич» я протиснулся боком, подтянул ремни и захлопнул дверь со второго раза. Замок не любил холод. В салоне густо пахло бензином и горячим железом, из старой обивки тянуло пылью. Музеем тут, одним словом, не пахло. В наушнике щёлкнуло.

— Двадцать восьмой, как слышишь? — спросил Лёша. Голос у него стал служебным.

— Чисто.

— Телеметрия идёт. Правая ступица — девятнадцать, левая — шестнадцать.

— На двадцати не ори. Просто скажи.

— А на двадцати одном?

— На двадцати одном можешь забирать мой домкрат по завещанию.

Лёша фыркнул, но вышло натянуто. Я запустил мотор и поддержал две тысячи оборотов, пока стрелка давления масла не успокоилась. К дальней шпильке покатыл без нагрузки. Несколько раз качнул рулём на прямой: вправо, влево, снова вправо. Колесо молчало, и эта тишина раздражала. Под нагрузкой оно запоёт снова — вопрос только, успею ли я закончить проход.

— Двадцать восьмой, камеры готовы, — передал Лёша слова режиссёра. — После красной вешки начинай проход. Они просят сто сорок.

— Просить можно хоть сто шестьдесят. Я пойду сто тридцать пять.

Я развернулся в шпильке, включил первую и дождался сигнала маршала. Тот поднял зелёный флажок. Мотор взял обороты легко, задние колёса коротко прошлифовали подмёрзший асфальт, затем зацепились. Первая, вторая, третья. Красный капот задрожал, дополнительные фары поплыли по краям зрения, стрелка тахометра прошла пять тысяч. На четвёртой машина перестала разгоняться охотно, зато весь её старый кузов заговорил сразу: ветер засвистел возле стойки, в дверях зашуршало, трансмиссия завывала на одной ноте.

Ступица молчала.

— Сто тридцать два, — сказал Лёша. — Температура справа двадцать четыре. Вибрация растёт, но ровно.

Перед красной вешкой я удержал газ. Камеры стояли далеко, как и потребовал, люди спрятались за бетонными блоками. Длинная левая дуга начиналась на лёгком подъёме, потом

уходила вниз. Здесь правая сторона принимала почти весь вес. Я повернул руль и почувствовал, как шина упёрлась в асфальт. Гул возник сразу, теперь уже не песней, а грубым рыком; руль дёрнулся у меня в руках.

— Сброс! — крикнул Лёша.

Я уже переносил ногу, но на долю секунды задержал газ. Машина стояла в правильном скольжении, до выхода оставалось метров сорок, а резкий сброс мог разгрузить заднюю ось и развернуть нас поперёк. Так говорил опыт. Тот самый опыт, которым я привык прикрывать решения, принятые раньше головы.

В наушнике треснуло. Вместо Лёши я услышал Кирилла — спокойно и устало, как на том сухом русле двадцать лет назад:

— Не держи газ, Андрей.

Тогда я не послушал. Увидел пыль соперника впереди, решил, что сам читаю рельеф лучше ошибочной легенды, и удержал педаль ещё на две секунды. Потом земля исчезла. Машина перелетела через бровку, ударилась носом в дно промоины и перевернулась. Я очнулся вниз головой, с треснувшими рёбрами, а Кирилл уже никогда не открыл глаза. Теперь я снял ногу сразу.

Правая ступица рассыпалась с металлическим хлопком. Колесо подвернулось под кузов, «Москвич» метнуло наружу. Я успел повернуть руль в сторону заноса и нажать тормоз один раз — не чтобы остановиться, а чтобы повернуть машину боком к снежному валу. За валом стояли камеры. Ещё дальше, возле бетонного основания фонарной мачты, махал руками маршал.

— Уйдите оттуда! — заорал я, хотя радио уже заполнил сплошной треск.

Красный капот нырнул. Снег ударил в стекло белой стеной, машину подбросило, ремни впились в плечи. Я увидел небо, чёрную полосу трассы, собственное оторванное колесо, которое катилось быстрее нас, потом снова небо. Второй удар пришёлся в правую сторону и был тяжелее первого. Каркас выдержал, кузов — нет. Металл сложился вокруг ног, приборная панель прыгнула навстречу, и в последний миг я ещё успел подумать, что Роман всё-таки получит красивый кадр. Звук исчез раньше света.

Свет вернулся белым, плоским и совершенно не похожим на солнце. Он бил через лобовое стекло, только стекло почему-то находилось у меня под ногами, а потолок давил на левое плечо. Двигатель ревел, захлёбываясь, из-под панели валил сизый дым. Кто-то рядом матерился коротко и убедительно.

— Сбрось, Витка! Сбрось газ, мать твою!

Я машинально убрал ногу. Мотор захлебнулся и смолк, однако меня по-прежнему тащило боком. Снег шёл через разбитое окно, царапал щёку; ремень держал не за плечи, а поперёк живота. Ничего не сходилось. Руки тем временем уже шарили возле рулевой колонки. Справа нашёлся тонкий ключ. Я повернул его, и двигатель окончательно затих. Кузов ещё немного проехал на боку, налетел на сугроб и лениво перевернулся через крышу. Остановились мы колёсами вверх.

Поясной ремень впился в живот, голова упиралась в продавленный потолок. Шлема на мне не было. В окно намело снега, и волосы касались его — волосы, которых под моим шлемом отродясь не бывало столько. Я поднял руку и уставился на неё. Ни шрама у большого пальца, ни распухшей костяшки, кожа гладкая. На запястье — механические часы; стекло треснуло, секундная стрелка стояла.

— Лёха! — прохрипел человек справа. — Лёха, ты живой?

Я повернулся на голос. Рядом, тоже вниз головой, висел мужчина в мягком матерчатом шлеме. Дверь вдавило ему в бок, по щеке к виску ползла кровь. Глаза были открыты, но сфо-

кусироваться он не мог. Под панелью сухо треснул металл — просто остывал, без электрики. Через секунду я почувствовал бензин.

Голова ещё могла обсуждать невозможное, тело выбрало более срочную задачу. Я растегнул ремень, выставив левую руку к потолку, и всё равно рухнул плечом вниз. Боль пришла резкая, свежая, но плечо выдержало. Где-то под сиденьем должен был быть выключатель массы. Я провёл ладонью по полу, который теперь находился над спиной, нащупал металлическую скобу и дернул. Щёлкнуло реле, остаточный свет в приборах погас.

— Эй. Слышишь меня? — Я дотянулся до мужчины, нащупал пульс на шее. Частый, но ровный. — Как зовут?

Он моргнул. Зрачки сошлись на моём лице.

— Ты совсем ебанулся, Серов? — прошептал он. — Как меня зовут... Чернов. Лёха Чернов.

— Хорошо, Лёха. Ноги чувствуешь?

— Чувствую. Дверь не чувствую. Она на мне лежит.

Я осмотрелся. Левая дверь была смята, но окно выбило. Через проём виднелся снег и стволы тонких берёз. Мы лежали за пределами какой-то испытательной дороги: чёрная полоса шла метрах в пятнадцати выше по склону. Никаких камер, фургонов и бетонных блоков. Только красно-белая вешка торчала из сугроба, а дальше к нам бежали трое мужчин в ватниках.

— Не шевелись, пока дверь не снимем.

— Бензин течёт, Витька.

Он был прав. Запах усиливался, сзади что-то мерно капало. «Москвич-412» имел бак под полом багажника, горловину справа; после переворота топливо могло идти через пробку или разорванную магистраль. Искры мы отключили, двигатель заглушили, но горячий выпуск никуда не делся. Ждать, пока люди добегут и организуют совещание, было нельзя.

Я пролез к правой двери, упёрся обеими ногами в центральный тоннель и толкнул. Дверь не открылась. Чернов застонал, я сразу остановился.

— Где прижало?

— Бедро. Стойкой. Не ломай, чёрт, я на нём женат.

— На бедре?

— На Зойке. Бедро ей тоже нравится.

Разговаривал он связно, даже шутил — уже неплохо. Я провёл рукой вдоль смятого каркаса двери. Полноценной клетки в машине не было, только дуга за сиденьями и распорка. Внутренняя ручка ушла под металл. Снаружи подбежавшие испытатели дёргали дверь и кричали друг другу, не слыша нас.

— Не тяните! — заорал я. — Ломайте заднее стекло и режьте ремень!

Мужчины замерли. Один присел к окну, его круглое красное лицо появилось в проёме вверх ногами.

— Виктор, живой? Алексей где?

— Живой, дверь держит бедро. Огнетушитель сюда. И лом с доской.

— Какой лом? Сейчас тягач...

— Пока тягач приедет, мы тут шашлык устроим. Огнетушитель и лом!

Лицо исчезло. Чернов посмотрел на меня внимательнее.

— Головой всё-таки приложился.

— Сильно заметно?

— Ты раньше просил сначала машину вытаскивать.

Снаружи разбили заднее стекло. В салон посыпались крошки, затем просунулась рука с красным огнетушителем. Я положил его рядом с собой, на случай если пары вспыхнут. Лом

появился следом. Доску пришлось ждать ещё полминуты, и эти тридцать секунд тянулись дольше последнего круга на полигоне.

Я просунул конец лома между стойкой и дверной рамой, подложил доску, чтобы не продавить металл в бедро Чернова. Места для рычага почти не было. Молодое — я уже не мог называть его иначе — тело согнулось легко, рёбра отозвались болью, но руки держали. Снаружи двое подхватили другой конец.

— На счёт три поднимаем и держим. Не рвём. Раз... два... три!

Металл застонал. Щель увеличилась на ладонь. Чернов закричал, затем выругался и сам дёрнул ногу. Я перехватил его за куртку, потащил к разбитому заднему окну. Снаружи приняли голову и плечи, кто-то ухватил за ремень. Через несколько секунд он исчез из салона.

Я потянулся за огнетушителем, собираясь вылезать следом, когда под задней частью машины вспыхнуло короткое жёлтое пламя. Не взрыв — загорелось топливо на горячей трубе. Я сорвал чеку и нажал рычаг. Белая струя ударила в пол, порошок заполнил салон, забился в нос и рот. Пламя снаружи сбили вторым огнетушителем. Меня вытащили через окно за ворот куртки и положили в снег рядом с Черновым.

В снегу я сперва увидел огнетушитель — тот самый, которым меня только что обдали по рукаву. Тяжёлый стальной баллон, краска на боку содрана, инструкция выплела почти до белого. Мужчина держал его обеими руками и кашлял от порошка. За ним на испытательной дороге стояли серый универсал с круглой эмблемой и второй «Москвич». Вокруг — ватники, шерстяные шапки, кожаные шлемы. Один из подбежавших звал врача, другой орал, чтобы перекрыли кольцо. Телефон никто не доставал.

Я сел и только тогда заметил на себе короткую куртку, шерстяные брюки и грубые ботинки. Правая ладонь была располосована стеклом. Кровь выступала быстро, ярко — и рука снова оказалась молодой. Часы на ней всё так же показывали одно и то же время.

— Витька, ты чего? — позвал Чернов. Его уложили на снятый с сиденья чехол. Он сам держался за бедро и отгонял всякого, кто пытался его ощупать.

— Смотрю, — ответил я. — Где мы?

Круглолицый испытатель рядом хохотнул — слишком громко, на одних нервах. Потом встретил мой взгляд и перестал.

— Пятое кольцо. Дмитровский полигон. А где ещё?

— Сегодня какое число?

Они переглянулись. Чернов приподнялся, тут же выругался сквозь зубы и снова лёг.

— Двенадцатое декабря. Виктор, ты меня вообще видишь?

— Год какой?

— Шестьдесят девятый, — сказал круглолицый. Помолчал и уже спокойнее попросил: — Ты не вставай больше. Сейчас врач прибежит.

Я лёг обратно. Земля качнулась сама, уговаривать меня не пришлось. Снег лез за ворот, рёбра болели на каждом вдохе, в стороне неровно работал карбюраторный мотор. Всё было слишком вещественным для обморока: порошок на языке, кровь в перчатке, спор над разлитым бензином. А мой красный номер двадцать восемь остался возле бетонной мачты в 2026-м. Здесь до него было ещё пятьдесят семь лет.

Чернов протянул руку и поймал меня за рукав.

— Я крикнул сбросить, — сказал он. — Ты услышал?

— Услышал.

— Первый раз с весны.

Он хотел добавить что-то ещё, но к нам уже бежал врач с брезентовой сумкой. Я закрыл глаза на секунду, надеясь, что при следующем вдохе вернутся фургон, Лёша и злой Роман. Вместо этого почувствовал запах йода и услышал, как кто-то приказал не давать Серову вставать. Имя легло на меня тяжелее снега.

В медпункте пахло мокрой шерстью, эфиром и краской, которой совсем недавно покрыли нижнюю половину стен. Меня раздели до пояса, промыли ладонь, ощупали голову и дважды спросили, не тошнит ли. Я отвечал честно: не тошнило, только мир не совпадал ни с одним разумным диагнозом. Молодая врачиха с усталыми глазами решила, что у меня сотрясение, и велела лежать. Возражать человеку, от которого зависело, когда я получу доступ к одежде и документам, было бессмысленно.

Имя нашлось в пропуске, который вынули из моей куртки и оставили на тумбочке. Виктор Серов, 1941 года рождения, водитель-испытатель. На чёрно-белой карточке смотрел исподлобья худой парень. Я дотянулся до зеркальца над умывальником: тот же подбородок, те же скулы, а под правым глазом уже темнел синяк. Двадцать восемь лет. Провёл ладонью по щеке, проверил щетину — почти нет. Я ткнул пальцем в синяк; парень в зеркале сделал то же самое. Пришлось отвести глаза.

Готовой памяти вместе с телом мне не досталось. Я не знал, где Виктор жил и есть ли у него родители. Но куртку застегнул не глядя, тапки под койкой нашёл ногой, а хлопок двери в коридоре почему-то узнал. Шаги приближались неторопливые, тяжёлые. Пётр Михайлович. Имя возникло само, и живот сразу подобрало — похоже, Виктор ждал от этого человека неприятностей.

В палату вошёл седоусый мужчина лет пятидесяти. Пальто не снял, перчатки держал в одной руке; на шее болтался секундомер. От него потянуло морозом и сигаретным дымом. Он остановился у двери, будто заранее решил близко ко мне не подходить.

Врачиха отложила карточку и поднялась ему навстречу.

— Пётр Михайлович, разговоров не будет. Сотрясение, ушиб грудной клетки, ладонь порезана. Сначала рентген и покой.

— Я пять минут, Тамара Григорьевна.

— Вы свои пять минут обычно растягиваете до приказа по заводу.

— Тогда три.

Она посмотрела на меня, проверяя, способен ли пациент защититься сам. Я кивнул. Способен — громкое слово, но узнать, кто именно пришёл добивать Виктора Серова, требовалось сейчас, пока он сам представился.

— Три минуты, — сказала врачиха и вышла, не закрыв дверь до конца.

Пётр Михайлович снял перчатки, положил их на край стола и некоторое время разглядывал меня. Не лицо — скорее неисправный узел, который снова вернулся с испытаний с той же дефектной ведомостью.

— Чернов останется в больнице, — наконец сообщил он. — Перелома вроде нет, сильный ушиб бедра. Врачи уточнят. Ты его вытащил, это хорошо.

— Он сам помогал.

— Не перебивай. — Голос не повысился, однако тело Виктора напряглось раньше, чем я успел оценить тон. — Машина восстановлению не подлежит. Измерительная аппаратура разбита. Неделю назад я лично запретил тебе проходить пятое кольцо быстрее ста десяти на непроверенной подвеске. Сегодня на самописце сто тридцать семь.

Я снова посмотрел на секундомер у него на груди. Значит, не для красоты носил: ещё до медпункта успел снять показания и теперь пришёл с цифрами.

— На входе в поворот был лёд?

— Был. Он там каждую зиму. Чернов сказал тебе на первом круге, механики — перед выездом. Ты обоим объяснил, что удержишь машину газом.

Забинтованная ладонь лежала на одеяле. Я смотрел на неё и вспоминал собственную ногу на педали — уже в другой машине, через пятьдесят с лишним лет. Получалось, у Серова была та же дрянная привычка: предупреждения он слышал, но соглашался только с собой.

— Не удержал, — сказал я.

Пётр Михайлович шевельнул усом, словно собирался усмехнуться, но передумал.

— Это я заметил. Мне интересно, какого чёрта ты полез туда на ста тридцати семи. После Прибалтики тебя оставили в испытателях только из-за твоего чутья. Половина сборной так машину не чувствует. Условие помнишь? Едешь по программе, команды инженера выполняешь, самостоятельность оставляешь дома. Восемь месяцев прошло — и опять рядом с тобой человек чуть не остался в железе.

При слове «Прибалтика» меня обдало коротким, чужим воспоминанием. Мокрые доски моста. Белая машина лежит в канаве, из-под капота валит пар. На рукаве кровь — не моя. Картинка тут же пропала, однако главное осталось: тогда Виктор остановился и полез к людям. В этом я был уверен, хотя понятия не имел, где проходила та гонка.

— Я вытащил Чернова до пожара.

— Сначала посадил его в перевернутую машину.

Спорить было не с чем. Пётр Михайлович ждал привычной вспышки, оправданий или грубости. Возможно, прежний Виктор уже вскочил бы с койки. Я сидел спокойно, и это сердило его сильнее.

— Что было в Прибалтике? — спросил я.

Он прищурился.

— Врач сказала, провалы памяти?

— Она сказала «сотрясение». Я хочу понять, что вы имеете в виду.

— Ты прекрасно понимаешь. Увидел аварию перед мостом, остановился без команды, полез вытаскивать чужой экипаж. Потерял контрольное время, сорвал командный результат, потом на разборе обвинил руководство в том, что людей поставили ниже отчётности. Стол помнишь? Или только удобные вещи забыл?

Правая кисть отозвалась тупой болью в костяшках. Видимо, тот стол тоже проиграл спор, хотя наверняка продержался дольше начальства.

— Люди выжили?

Вопрос сбил его с приготовленной речи.

— Выжили.

— Тогда я не вижу проблемы в остановке.

— Проблема не в том, что ты остановился! — Пётр Михайлович всё-таки повысил голос, затем покосился на дверь и заговорил тише. — Проблема в том, что с тобой невозможно строить команду. Ты либо геройствуешь один, либо никого не слушаешь. Сегодня Чернов приказал сбросить трижды. На четвёртый раз ты почему-то послушал. После того как угробил машину.

Трижды. Я услышал только один крик — уже после того, как очнулся в летящем боком кузове. Значит, до этого за рулём был Виктор. Перенос случился не в больнице и не после остановки сердца; две аварии на несколько мгновений наложились друг на друга. Я снял ногу в обеих, но одному автомобилю этого не хватило.

— Что теперь? — спросил я.

— Теперь лечишь голову. Потом комиссия. К испытаниям вернёшься, если допустят, но международную группу забудь. В резерве тебя больше нет.

— В каком резерве?

Пётр Михайлович медленно поднялся. Три минуты явно закончились, а вместе с ними его терпение.

— Даже если ты действительно половину забыл, это ничего не меняет. Лондон — Мехико без тебя. На этот раз окончательно.

Он забрал перчатки и направился к двери. Я успел увидеть на папке, которую он держал под мышкой, заводской штамп и наклеенную поверх листа маршрутную схему. Чёрная линия шла через Европу, обрывалась у океана, снова начиналась возле Рио и тянулась вдоль всего континента к Мехико. Внизу крупно стояли две даты: 19 апреля — 27 мая 1970 года.

— Пётр Михайлович.

Он остановился, но не обернулся.

— Сколько машин готовят?

— Уже ни одной твоей.

Дверь закрылась. В коридоре врачаха сразу принялась ругать его за шум, он отвечал отрывисто, затем голоса удалились. Я дождался тишины и только тогда встал. Мир качнулся, но удержался. На стене возле окна висел свежий плакат: стилизованный футбольный мяч между силуэтами двух стадионов, под ним автомобили, направленные через карту мира. «Daily Mirror World Cup Rally. London — Mexico 1970». Угол плаката отходил от стены, клей ещё не высох.

Я подошёл ближе. Тело Виктора шло легко, если не считать боли в рёбрах. Двадцать один год моей жизни куда-то исчез: старое колено не ныло, плечо свободно поднялось выше головы, пальцы не дрожали после нагрузки. Вместе с возрастом пропали должность, квартира, счета, команда, которая давно научилась работать без меня, и телефон с фотографиями людей, до которых я так и не решился доехать. Остался мёртвый компас на ремне шлема — только и он лежал теперь возле искорёженной машины в 2026 году. Зато название на плакате я знал.

Марафон Лондон — Мехико стартовал с «Уэмбли» весной 1970-го и закончился у стадиона «Ацтека». Двадцать пять с лишним тысяч километров, Европа, Южная и Центральная Америка, два морских перехода, пампа, пыль, тропические ливни и перевалы почти в пять тысяч метров. Девяносто шесть экипажей вышли на старт. До финиша добрались двадцать три. Заводские «Москвичи» оказались крепче большинства дорогих машин: три финишировали, команда заняла третье место, лучший экипаж пришёл двенадцатым.

Я помнил победителя, помнил общий маршрут и несколько аварий, фотографии которых годами висели в нашей мастерской. Не помнил точных нормативов, всех поворотов и дат этапов. Будущее не выдало мне готовую легенду — только направление и знание того, насколько эта гонка беспощадна к людям, уверенным, что они сильнее дистанции.

На тумбочке лежала одежда Виктора, поверх неё — мятый пропуск водителя-испытателя. Я взял его левой рукой, потому что правая была забинтована, и ещё раз посмотрел на фотографию. У парня на снимке были мои глаза только потому, что теперь из них смотрел я; всё остальное принадлежало человеку, которого уже успели назвать трусом за спасение чужих людей и безумцем за привычку никого не слушать. Неплохой набор для экипажа, которого не существовало.

До старта оставалось четыре месяца. У меня не было машины, штурмана, допуска и даже уверенности, что завтра я вспомню дорогу от медпункта до заводской проходной. Зато впервые за двадцать лет впереди находилась гонка, ради которой стоило вернуться за руль, а рядом — люди, без которых её нельзя было закончить. Оставалось добиться, чтобы хотя бы один из них согласился сесть со мной в автомобиль.

Глава 2. Запасной, которого нет

У двери квартиры я всё-таки замешкался. Ключ лежал в левом кармане, пальцы Виктора нашли его сами, однако я не знал, какой из двух замков наш. Лидия Ивановна, поднимавшаяся следом с моей больничной сумкой, тяжело перевела дыхание, посмотрела на меня и без вопроса забрала связку. Маленький плоский ключ — верхний, длинный — нижний. Тело подсказало это уже после того, как оба щёлкнули.

— Заходи, чего встал. Сквозняк по всему подъезду.

Она говорила со мной как с сыном и каждые несколько минут трогала за локоть, проверяя, не закачает ли снова. В медпункте на полигоне мы провели почти двое суток: рентген, осмотр в районной больнице, ночь под присмотром, ещё один рентген, потому что Тамаре Григорьевне не понравилось, как я дышу. Переломов не нашли. Нашли сотрясение, ушиб рёбер, порезанную ладонь и дурной характер — последнее в справку не записали, хотя Лидия Ивановна, судя по лицу, считала диагноз главным.

Квартира была маленькая, двухкомнатная, с узким коридором, где два человека в зимней одежде уже мешали друг другу. На тумбе возле телефона стояла чашка с засохшим чайным ободком. Над вешалкой висело овальное зеркало, и парень с синяком под глазом снова посмотрел на меня слишком внимательно. Тёмные волосы, у правого виска светлая прядь — не седина ещё, скорее выгоревшая полоска. Я отвернулся первым.

— Ботинки снимай сидя, — велела Лидия Ивановна. — И не вздумай сейчас сказать, что тебе на завод надо. Пётр Михайлович звонил. На заводе без тебя справятся.

— Он так и сказал?

— Он сказал длиннее. Я сократила.

Она стянула платок, открыла шкаф и повесила моё пальто на крючок, который я сам бы выбрал не глядя. Комната слева отзывалась знакомым толчком где-то под рёбрами. Не воспоминанием: просто туда хотелось идти, тогда как за закрытой дверью справа тело ожидало запах нафталина и тиканье больших часов. Я поймал себя на том, что стою посреди чужой прихожей и сортирую ощущения бывшего владельца, будто после аварии осматривал машину, которой предстояло ещё доехать до сервиса.

Лидия Ивановна проследила за моим взглядом.

— Иди к себе. Я суп разогрею. Только рубашку сразуними, белая же, весь бок испачкаешь мазью.

— Спасибо.

Она уже повернулась к кухне, но остановилась.

— За что?

— За суп. За то, что забрали. Вообще за всё.

— Ну точно приложился.

Сказала она это сердито, а губы дрогнули. Я вошёл в комнату Виктора и прикрыл дверь не до конца. Запираться от матери показалось подозрительнее, чем оставить щель.

Комната выглядела так, будто хозяин собирался вернуться вечером и продолжить спор, прерванный утром. На спинке стула висели брюки, под батареей сохла пара гоночных ботинок, на письменном столе лежал раскрытый номер журнала «Автомобильная промышленность». Поля статьи о новых методах ресурсных испытаний были исчерканы карандашом. Виктор спорил даже с печатным текстом: возле одного абзаца стояло «чушь», возле другого — «проверить на 408-м», а у таблицы допусков он нарисовал жирный вопросительный знак.

На стене над кроватью висели три грамоты. Автокросс, заводские соревнования, ралли — названия городов ничего мне не говорили, зато подпись на всех принадлежала одной и той же руке: резкий наклон вправо, последняя буква почти пробивала бумагу. Рядом кнопками

была приколата фотография. Молодой Серов стоял у «Москвича» с распахнутым капотом, щурился от солнца и держал за шею человека в очках. Оба были грязные и довольные. На обороте обнаружилась надпись: «Минск, 1967. До финиша не доехали 300 метров, зато толкали дружно».

Я положил снимок обратно. До этого момента Виктор существовал для меня пропуском, телом и чужой дурной репутацией. Фотография добавила живого человека, который когда-то смеялся, пачкал руки и подписывал карточки друзьям, — и чужое место сразу стало ещё теснее.

В ящике стола лежали квитанции, запасные свечи, коробка с медалями и несколько писем. Я не хотел читать чужую переписку. Потом вспомнил, что ношу чужое лицо, сплю в его комнате и через минуту буду есть суп его матери. На этом фоне нравственная щепетильность по поводу конверта выглядела дешёвым украшением.

Письмо Нине оказалось не запечатано. Всего один лист, начатый дважды. Первую попытку Виктор перечеркнул так сильно, что порвал бумагу. Во второй было написано: «Нина, я не собирался при всех говорить, что твои расчёты годятся только для шкафа. Я имел в виду...» Дальше шёл длинный прочерк, затем: «Нет, именно это я и сказал. Только имел в виду другое». На этом извинение закончилось. Внизу он три раза попробовал подписаться, все три подписи зачеркнул.

— Неплохо ты умел разговаривать с людьми, — пробормотал я.

Тело отозвалось неловким теплом, когда я произнёс имя. Нина была важна — это я понял сразу, но память не сообщала, насколько. Внутри сохранились обида, притяжение и желание оправдаться, сваленные в одну кучу. Разбирать их без неё я не собирался.

Под письмами лежала сложенная газетная вырезка. Заголовок отрезали, дата сохранилась: апрель 1969 года. На мутной фотографии белый автомобиль торчал носом из канавы возле деревянного моста, вокруг стояли люди в дождевиках. В заметке фамилию Серова упомянули один раз: экипаж прекратил борьбу после самовольной остановки и потерял контрольное время. Про двоих людей, которых он вытащил из машины, не было ни слова. Ни слова о крови на рукаве и паре из-под капота, которые я увидел чужой памятью в медпункте.

— Суп остывает.

Лидия Ивановна стояла в дверях. Я не слышал, как она подошла. Она увидела вырезку и сразу подобралась, словно разговор на эту тему у них случался много раз и каждый заканчивался плохо.

— Почему здесь не написали про людей? — спросил я.

— Потому что заметка про гонку, а не про людей. Тебе тогда так объяснили.

— А вы как считаете?

— Я считаю, что ты всё сделал правильно, пока не вернулся и не полез драться с начальством. Спасти человека — правильно. Швырнуть стул в стену — нет. Стул казённый.

— Я думал, ударил по столу.

— По столу сначала. Стол оказался крепче.

Она села на край кровати и провела ладонью по покрывалу, расправляя несуществующую складку. На работе Лидия Ивановна контролировала качество деталей — это я узнал из пропуска, лежавшего возле телефона. Видимо, привычка искать дефекты распространялась и на сына.

— После Прибалтики говорили, что я трусился?

— В лицо никто не говорил. В глаза смотрели, как будто ты команду подвёл. Ты из-за этого и бесился. — Она помолчала, разглядывая мою забинтованную руку. — Трусом тебя только полный идиот назовёт, Витя. Ты другой бедой болеешь: если решил, что прав, тебе хоть кол на голове теши. Нину прогнал, Чернова не слушал. Теперь вот сидишь и спрашиваешь так, будто о соседском мальчишке речь.

Я сложил вырезку по старым сгибам. Признаться ей было невозможно. Не потому, что не поверит. Поверить она как раз могла — после того, как сын вернулся из больницы чужим, матери способны принять и более страшное объяснение. Но что я скажу дальше? Что настоящего Виктора, возможно, больше нет, а за её стол сядет сорокадевятилетний мужчина, присвоивший его голос и руки? Я не знал, умер ли Серов, остался ли где-то внутри или просто потерял память вместе со мной. Делать Лидию Ивановну участницей этой неизвестности было жестоко.

— Врач предупреждала, что после сотрясения могут быть провалы, — сказал я. — Они и есть. Не всё пропало, но кусками.

Она посмотрела на меня дольше, чем хотелось.

— Тогда не притворяйся, что всё нормально. Если Нину не помнишь — так и скажи. Она тебя за правду не убьёт. За враньё может.

— Обнадёжили.

— Суп ешь.

За столом Лидия Ивановна дважды подложила мне хлеб, а на третий раз просто отодвинула мою руку и положила ещё кусок сама. Я хотел возразить, но набрал воздуха неудачно, поморщился, и она тут же заметила. Пересадил ближе к стене, велела держать ложку левой рукой, потом зачем-то раскрошила укроп прямо в тарелку, хотя я его не просил. В моей квартире в 2026 году никто не считал, сколько я съел. Иногда и считать было нечего: бутылка воды, горчица на дверце, засохший сыр, который проще выбросить вместе с упаковкой. Мне нравилось думать, что это свобода. Сейчас я сидел перед второй тарелкой супа, слушал, как женщина напротив сердито дышит носом, и не мог решить, куда девать глаза. Я занял не только Викторовы руки и голос. Мне досталась мать, которая боялась за него ещё до моего появления и теперь принимала мою неловкость за последствия удара.

После ужина ботинки исчезли. Я заглянул под кровать, потом в прихожую и только там сообразил, что Лидия Ивановна решила лечить меня отсутствием обуви. В шкафу пара нашлась за свёрнутым ковриком. Я вытащил её, но надевать не стал: поставил возле кровати носами к двери, чтобы утром не возиться. Потом разложил на столе всё, что обнаружилось в карманах Виктора: заводской пропуск, три ключа на стальном кольце, два трамвайных талона, винтик с сорванной резьбой, мелочь и сложенную вчетверо схему автобусов. Ключи я различил не сразу. Короткий сунулся было в дверной замок, однако кисть сама повернула его в пальцах и потянулась к другому. Значит, короткий — от лабораторного шкафа, а длинный с потёртой бородкой — от гаража. С дорогой было так же: я не видел её целиком, зато отчётливо знал, что у булочной нельзя садиться в первый подошедший автобус, а после метро надо уйти вправо вместе с рабочей толпой. Почему — голова не объясняла.

Заметку о Лондоне и Мехико я нашёл уже лёжа, когда журнал соскользнул с тумбочки и больно стукнул по локтю. Три колонки победного шума, пять машин на фотографии, рядом карта, на которой Южную Америку можно было прикрыть большим пальцем. Про двигатели автор не написал ни строчки; пыль пампы и горные дороги он тоже благоразумно пропустил. Я прочёл заметку ещё раз, теперь медленнее. Финиш в Мехико я помнил. До него в моей памяти доезжали люди с давно умершими лицами, но это знание здесь ничего не стоило. Попробуй скажи Сазонову: возьмите меня, я уже видел фотографию вашего будущего. После больницы меня и без того собирались показать неврологу.

Утром возле кровати остались только два влажных следа от подошв. Лидия Ивановна завтракала на кухне и слишком старательно смотрела в чашку. Я проверил шкаф — пусто,

зато в нижнем ящике прихожей нашлась старая пара с гладкими подошвами. Пришлось сесть прямо на ящик и переобуться. Мать Виктора наблюдала из кухни поверх чашки.

— Ты же понимаешь, что я всё равно уйду?

— Понимаю. Хотела посмотреть, догадаешься ли надеть другие. Вчерашний ты пошёл бы в носках назло.

Она намотала мне шарф до самого подбородка, сунула в карман два бутерброда и потребовала вернуться до темноты. Насчёт бутербродов я обещал. На остальное промолчал, но Лидия Ивановна и без слов всё поняла: поправила узел так резко, что шарф на секунду перехватил горло, и отпустила.

Первый автобус я пропустил не потому, что вспомнил маршрут. В него попросту не влез бы ещё один человек, тем более человек с большими рёбрами. Двери прижали чей-то портфель, кондукторша выругалась, пассажиры внутри дружно качнулись, и автобус ушёл, оставив после себя сизый выхлоп. Следующий оказался свободнее. В метро меня толкнули в бок уже на входе; я ответил так громко, что пожилой мужчина передо мной обернулся, а девочка с сеткой молочных бутылок прижала её к коленям. Пришлось извиниться. Над дверью висела непривычно короткая схема линии. Я знал её продолжение — станции, пересадки, даже вечную давку через десятки лет, — но стоял сейчас в чужом пальто и боялся пропустить собственную остановку. Название «Текстильщики» объявили сипло, половину слова съел треск. Ноги всё равно подняли меня раньше головы.

На улице вышел спор между мной и Виктором. Я выбрал широкую дорогу: заводские трубы были видны над крышами, заблудиться невозможно. Через двадцать шагов появилось неприятное чувство, будто забыл дома включённый утюг. Вернулся к арке, прошёл между двумя домами — отпустило. Навстречу тянулись рабочие. Один хлопнул меня по здоровому плечу и бросил: «С возвращением, псих», не замедляя шага. Я успел узнать его только со спины; в голове мелькнуло имя, кажется, Колька, и тут же пропало. Другому я кивнул первым, а уже потом понял, что никогда его не видел. С такой памятью лучше было молчать и выглядеть угрюмым. Насколько я успел понять, Серова подобное поведение никого бы не удивило.

У заводской проходной вахтёр прижал мой пропуск к стеклу линейкой и долго сравнивал фотографию с тем, что осталось от лица после полигона.

— Синяк лишний.

— В следующую карточку внесу.

— Пётр Михайлович велел тебя не пускать без медсправки.

Я просунул справку под стекло. В ней было написано, что Серов выписан под амбулаторное наблюдение и от вождения отстранён до комиссии. Строчек набралось много, печатей две; запрета ходить собственными ногами среди них не оказалось.

Вахтёр прочитал справку донизу, вернулся к середине, зачем-то перевернул лист и снова посмотрел на меня.

— Голову береги. Вторую завод не выдаст.

— Эту бы сначала в комплект привести.

Сразу за проходной пресс ударил где-то за стеной, и боль отозвалась под повязкой с таким запозданием, словно рёбра сперва решили подумать. Я пошёл медленнее. Возле литейного корпуса снег был серым и зернистым, подошвы скользили по шлаковой крошке; из открытых ворот выкатили тележку с отливками, и двое рабочих принялись ругаться, кто должен был придерживать створку. Мне навстречу сдавал грузовик. Я отступил ещё до того, как водитель высунулся из кабины, — точно к жёлтой полосе на стене, куда, видимо, отходил Виктор десятки раз. В современных боксах я привык слышать, как падает шайба. Здесь металл орал со всех сторон. Странное дело: от этого шума чужая голова наконец перестала казаться пустой.

Испытательная лаборатория нашлась без моей помощи. У двери я сбавил шаг: тело опять узнало человека раньше головы.

Нина Елагина стояла спиной ко мне и спорила с молодым техником над разложенными чертежами. Рыжевато-русые волосы были убраны под тёмный платок, из нагрудного кармана халата торчал красный карандаш. Она держала штангенциркуль так, как другие держат указку, и постукивала губками по размерной линии.

— Если здесь оставить полтора, трещина уйдёт к отверстию. Не сегодня, так после тысячи километров. Перерисовывайте.

Техник забрал лист и ушёл, заметив меня уже у двери. Нина проследила за его взглядом, обернулась и сразу перестала сердиться. Лицо стало спокойным, закрытым.

— Серов. Тебя выписали или ты сбежал?

— Выписали. Доброе утро, Нина Павловна.

Она медленно положила штангенциркуль на стол.

— Настолько сильно ударился?

— Уже все спрашивают.

— Они слышат, как ты разговариваешь. Я ещё вижу, как ты ходишь.

Я невольно посмотрел на ноги.

— А что с походкой?

— Правый бок бережёшь, это понятно. Но раньше ты входил пяткой и всё время спешил, даже когда шёл в туалет. Сейчас ставишь ногу мягко, будто ждёшь, что под ней будет гравий. И за перила держался снизу.

Наблюдательность у неё была неудобная. Я опёрся бедром о край стола, чтобы не демонстрировать ничего нового.

— В больнице много времени думать.

— Два дня — впечатляющий срок. Фамилию мою помнишь?

— Елагина.

— Что ты сказал мне в понедельник перед выездом?

Письмо лежало дома в ящике, и его начало я помнил дословно. Последнюю ссору оно не описывало.

— Что-то про расчёты и шкаф.

— Это было месяц назад. В понедельник ты сказал, что моя работа заканчивается там, где водитель включает первую передачу. Потом посоветовал измерять гайки и не мешать мужчинам ездить.

— Похоже на меня.

— На тебя похоже то, что сейчас ты не споришь.

Нина подошла ближе, всмотрелась в зрачки и подняла два пальца. Я проследил за ними вправо, влево, вверх. Она не врач, но движение глаз проверяла уверенно.

— Голова болит?

— Терпимо.

— Тошнит?

— Нет.

— Провалы памяти?

— Есть.

Она убрала руку. На секунду в лице появилось не недоверие, а тревога, которую Нина тут же спрятала.

— К неврологу. Сегодня. Я позвоню в медсанчасть.

— После Петра Михайловича.

— Ты опять решил, что сам расставишь порядок?

— Нет. Он уже расставил. В больницу звонил, на проходную позвонил, скоро, наверное, сюда прийдёт человека с верёвкой.

— Не прийдёт. Сам придёт.

Сазонов появился через минуту, будто ждал за стеной подходящей реплики. Пальто на этот раз снял, воротник рубашки был застёгнут до конца. Секундомер висел на привычном месте. Он посмотрел сначала на справку в моей руке, затем на Нину.

— Почему его пропустили?

— Потому что в справке нет запрета ходить, — ответил я.

— Исправим.

Пётр Михайлович повёл нас в небольшую комнату рядом с лабораторией. На стене висела карта Европы с протянутой к Лиссабону красной ниткой, на столе лежали папки экипажей. Олег Борисович Туманов сидел у окна, держа на колене ведомость шин. В столбце с давлением он что-то подчёркивал ногтем, а карандаш так и лежал на столе. По фотографии из заводского журнала я узнал бы его чуть позже; тело управилось первым — сжало челюсть и заставило расправить плечи, отчего сразу заболел бок. Значит, отношения у них с Виктором были старые и тёплые, как подшипник без смазки. Туманов закрыл ведомость большим пальцем, поднялся. Комбинезон на нём сидел без единой складки, светлая чёлка тоже знала своё место. Усмешки, которой я ждал, не последовало.

— Живой, значит.

— Пока не запретили.

— Садись, — сказал Сазонов. — И слушай. Желательно с первого раза.

Стул оказался детским или просто просевшим от совещаний. Садиться прямо я не рискнул, устроился боком и упёрся ладонью в край стола. Нина осталась у двери; красный карандаш торчал у неё из кармана остриём вверх. Туманов вернулся к окну, но ведомость не открыл — положил на неё обе руки и смотрел теперь только на меня.

— Комиссия по аварии соберётся после врачей и осмотра машины, — начал Пётр Михайлович. Он не заглядывал в папку: текст успел выучить без меня. — До комиссии к рулю не подходишь. Потом, если допустят, возвращаешься на стендовые и ресурсные испытания. Из международного резерва ты снят. Вчера. Окончательно.

— Быстро.

— Я восемь месяцев ждал медленно. Нагляделся. Результат сейчас соскребают со снега за пятым кольцом.

— Машину с кольца уже привезли?

— Ты слышал только последнюю фразу?

— Всё слышал. Стендовая работа, без руля, Лондон — Мехико без меня. Теперь спрашиваю о машине.

Сазонов придвинул верхнюю папку к краю стола, выровнял по нижней и только потом поднял глаза. Я ожидал вспышки. Он выглядел слишком уставшим даже для неё.

— В экспериментальном боксе. До окончания осмотра ничего не трогать.

— Мне нужно посмотреть запись.

Туманов впервые вмешался. Голос у него был тихий, из-за чего слова приходилось слушать внимательнее.

— Серов, Чернов жив. Ты его вытащил — молодец. Но не надо путать удачную эвакуацию с готовностью ехать марафон. Там каждый день придётся выполнять то, что тебе говорит человек справа. У тебя это пока получается один раз из четырёх.

Он не унижал и не злорадствовал, просто говорил то, с чем спорить было трудно.

— Я и не путаю, — ответил я. — Хочу понять, что случилось с машиной.

— На входе был лёд, скорость сто тридцать семь, — сказал Сазонов. — Чернов дал команду сбросить. Этого достаточно.

— Для комиссии — возможно. Для двигателя нет.

Нина чуть изменила позу. Едва заметно, но я понял: слово попало куда надо.

— Что с двигателем? — спросила она.

— Не знаю. Поэтому и нужна запись.

Пётр Михайлович посмотрел на настенные часы.

— Десять минут. Ничего не откручиваешь, к машине не лезешь. Потом в медсанчасть. Елагина, проводите, раз уж вам обоим понадобилась экскурсия.

— Мне она не понадобилась, — сухо сказала Нина.

— Тем лучше. Присмотрите без энтузиазма.

Туманов поднял ведомость, но пошёл с нами. Объяснять зачем не стал.

После удара на полигоне я видел машину снизу и изнутри, когда металл ещё остывал, а бензин капал возле головы. В боксе она выглядела хуже. Крышу вытянуло дугой, правую стойку вдавило в салон, двери сняли и прислонили к стене. На полу под кузовом лежали комья грязного снега. Переднее колесо смотрело наружу под углом, на который никакой регулировки не хватило бы.

Семён Ильич Барсуков сидел у верстака и вытирал руки сложенной вчетверо газетой. Ветошь лежала рядом, чистая, но он её не трогал. Старший моторист посмотрел на мою повязку, потом на Сазонова за нашей спиной.

— Героя привели.

— Смотреть, — уточнил Пётр Михайлович. — Руками ничего не трогает.

— Правильное решение. В прошлый раз он руками машину в сугроб положил.

Барсуков говорил без злобы. Для него разбитый автомобиль был прежде всего испорченной работой, и сочувствовать водителю он собирался после того, как разберётся с железом.

Измерительную аппаратуру уже сняли. Один приборный ящик смяло, второй лежал на столе с оборванными проводами. Возле него стояла катушка бумажной ленты. Край помялся и был испачкан маслом, но последние метры записи сохранились.

— Это с нашего заезда? — спросил я.

Нина не ответила сразу. Взяла ленту двумя пальцами, нашла карандашную отметку и развернула чистой стороной ко мне.

— Последние семь минут. Остальное порвалось при перевороте. Здесь обороты, давление масла, температура, скорость и положение руля. Подписи Виктора. То есть твои.

Почерк на полях совпадал с пометками в журнале дома. Я наклонился ближе. Линии шли неровно: перья дрожали вместе с кузовом, на разгоне обороты поднимались ступенями, скорость отставала. Перед аварией руль ушёл вправо, затем резко влево — попытка поймать занос. Следом все каналы сорвались в пляску, когда машина покинула дорогу.

— Вот удар, — сказала Нина, коснувшись красным карандашом жирного излома. — Дальше запись мусорная.

— А это?

Я показал на тонкую линию давления. За несколько сантиметров до излома она просела почти к нижней трети шкалы, продержалась недолго и вернулась. Водитель мог не увидеть: лампа не загорелась, стрелка обычного указателя отреагировала бы с опозданием.

— Датчик тряхнуло, — сказал Туманов из-за плеча. — Или контакт отошёл.

— До удара.

— Перед ударом машина уже скользила.

— Сколько здесь скорость протяжки? — спросил я у Нины.

Она назвала величину. Я отмерил расстояние ногтем, пересчитал в уме. Получалось около трёх секунд.

— Давление начало падать до резкого движения рулём. Машина ещё держала дугу.

Барсуков выбросил измятую газету и взял ленту. Глаза у него оказались лучше моих: очки не понадобились.

— На трёх секундах мотор не умрёт.

— Не умрёт. И переворот не из-за этого. Но если провал повторяется, в Лондон такой мотор отправлять нельзя.

Сазонов стоял у открытой двери бокса и уже жалел, что дал десять минут.

— На основании одной дрогнувшей линии ты поставил диагноз?

— Я ничего не поставил. Хочу посмотреть остальную запись и поддон.

— Поддон опечатан до комиссии, — сказал Барсуков. — Масло слили, мотор сняли.

Внутри никто не лазил.

— На какой дуге это произошло? — спросил я.

— Пятая, длинная правая, — ответил Туманов. — Потом лёд на входе в короткую левую.

Я закрыл глаза, пытаюсь вернуть не сам переворот, а несколько секунд до него. Память Виктора не дала картинки. Тело вспомнило тяжесть справа, рёв мотора, раздражение от крика Чернова. Длинная правая дуга означала устойчивый отлив масла в одну сторону. Если масло-приёмник стоял неудачно, крепление ослабло или в поддоне не хватало перегородки, насос мог хватнуть воздух. На коротком тесте мотор простит. На перевале или долгом скоростном повороте — как повезёт.

— Нужна лента с других правых дуг, — сказал я.

Нина убрала карандаш в карман.

— И с левых. И с прямой. Иначе ты просто выбираешь то, что подтверждает догадку.

— Хорошо. Со всех режимов.

— Не «хорошо», Серов. Ты минуту назад уже решил, что виноват маслоприёмник.

— Я знаю, как выглядит отлив масла.

— Ты знаешь, как он может выглядеть. Здесь ещё может быть провод, датчик, перо или питание прибора. После удара — всё что угодно.

Я хотел сказать, что видел подобное десятки раз. В современных командах мы ставили дополнительные датчики, сверяли давление с продольным и боковым ускорением, разбирали провалы по тысячным долям секунды. Здесь перед нами лежала бумажная лента, а доказательство предстояло собрать руками и секундомером. Моё будущее не превращало догадку в факт.

— Согласен, — сказал я. — Пока это версия.

Нина посмотрела недоверчиво. Видимо, прежний Виктор соглашался так редко, что сам факт требовал проверки у невролога.

Туманов взял свободный конец ленты и развернул ещё полметра.

— Тут что?

Ещё один короткий провал был меньше первого и прятался между переключениями. Руль в это время тоже держали вправо. Я не успел ничего сказать. Нина выдернула из ящика линейку, измерила расстояние между каналами, сделала пометку красным.

— Это первый круг, — произнесла она. — Температура масла ниже.

— Контакт, — повторил Барсуков, но уже без уверенности.

— Возможно. — Нина свернула ленту. — У меня в архиве есть записи с этой машины за ноябрь.

Сазонов посмотрел на часы.

— Время вышло. Серов идёт к врачу. Вы все возвращаетесь к работе.

— Пять минут на архив, — попросила Нина.

— Вы-то куда?

— Проверить, не пытается ли он случайно оказаться прав. Мне потом на этих данных ставить подпись.

Она ушла, не дожидаясь разрешения. Сазонов проводил её взглядом и ничего не сказал. Я присел на край табурета: рёбра начали напоминать, что больничная справка выдана не для красоты. Туманов остался возле ленты.

— Допустим, давление падало, — сказал он. — Тебе это зачем? Машину ты всё равно не получишь.

— А тебе неинтересно, что будет с твоим мотором на длинной дуге?

— Интересно. Поэтому я здесь. Но ты торгуешься не за мотор.

— Конечно, не за мотор.

— Хоть честно.

Он отошёл к разбитому кузову, осмотрел вдавленную стойку и провёл пальцем по краю сварного шва. Туманову было тридцать четыре, он считался первым номером, и у него имелись все причины желать, чтобы Серов исчез из списка. Однако разбитая машина нравилась ему не больше моего. Соперник, который хочет выиграть место на исправной технике, удобнее врага, мечтающего подпилить тебе ступицу.

Нина вернулась с двумя рулонами, перевязанными бечёвкой. Пыль на них лежала толстая; архивом, судя по всему, пользовались только перед проверками и после аварий.

— Машина другая, двигатель этой же сборочной партии, — сказала она, раскладывая первую ленту. — Ноябрь, ресурсный заезд Туманова. Вот длинная правая на третьем кольце.

Линия давления опустилась совсем немного, затем вернулась. На второй записи провал был глубже. Рядом чужой рукой стояла пометка: «колебание датчика, проверить контакт». Контакт проверили — на полях имелась подпись электрика. Повторный заезд не проводили.

Барсуков перестал вытирать руки и придвинулся к столу.

— Этот мотор потом вскрывали. Вкладыши чистые.

— После скольких кругов? — спросил я.

— После восьми.

— А нам ехать двадцать пять тысяч километров.

— Не на одной правой дуге.

— Иногда одной хватает.

Пётр Михайлович взял обе ленты. Несколько секунд в боксе было слышно только, как снаружи сдаёт грузовик и кто-то стучит молотком по листу металла. Сазонов не любил авантюры, зато прекрасно понимал цену схода. Пять заводских машин на другом континенте — плохое место для проверки старой пометки электрика.

— Что ты предлагаешь? — спросил он наконец.

— Поставить снятый мотор на стенд и воспроизвести режим. Горячее масло, рабочие обороты, длительная боковая нагрузка вправо.

Барсуков фыркнул.

— На стенде ты боковую нагрузку откуда возьмёшь? Цех наклонишь?

— Для начала наклоним двигатель.

— Вместе со стендом, трубами и вытяжкой?

— Сделаем оснастку.

— За четыре месяца?

— За три часа.

Семён Ильич посмотрел на меня с интересом, которое обещало неприятности. Нина, наоборот, нахмурилась.

— Статический наклон может ничего не показать, — сказала она. — На машине масло движется, его отбрасывает, кузов вибрирует. Ты опять выдаёшь первый вариант за ответ.

— Первый вариант нужен, чтобы увидеть, чего не хватает для второго.

— Очень удобное объяснение, если результат будет нулевой.

Она была права и раздражала именно поэтому. Я ещё не знал, как заставить масло в неподвижном поддоне вести себя как на дуге. Можно наклонить мотор, изменить уровень, дать вибрацию через опоры, но каждое действие добавляло новую переменную. В 2026-м я поручил бы инженерам составить стендовую программу и получил к вечеру три варианта. Здесь единственным моим преимуществом оставалось понимание, какие вопросы задавать. Ответы принадлежали людям вокруг.

— Тогда составим программу вместе, — сказал я.

— Я не соглашалась тебе помогать.

— Помоги Туманову. Ему на таком моторе ехать.

Олег Борисович усмехнулся одним углом рта.

— Удобно устроился. Моим мотором торгуешься, моей фамилией прикрываешься.

— Зато если ошибусь, смотреть будешь из первого ряда.

Сазонов положил ленты на верстак.

— Никто ни с кем не торгуется. Серов снят из резерва. Проверка двигателя этого решения не меняет.

— Если давление не провалится, я подпишу отказ от любых претензий на международную команду и вернусь на стенд. Без разговоров, писем и стульев.

— Ты уже вне команды. Ставишь на кон то, чего у тебя нет.

— Тогда если провалится, дайте мне доступ к подготовке и право пройти контрольный отбор. Не место. Отбор.

— Нет.

Ответ прозвучал сразу. Сазонов даже не задумался.

— Почему?

— Потому что международную команду собирают не в карточной игре. Найденный дефект не делает тебя дисциплинированнее, не возвращает доверие Чернова и не лечит голову. Я могу поручить проверку Барсукову и Елагиной. Твоё присутствие для мотора не обязательно.

— Для мотора — нет. Для режима обязательно. На обычном стенде провала может не быть. Тогда все решат, что контакт, и успокоятся.

— Ты заранее придумал объяснение на случай неудачи.

— Я заранее видел, как такие проверки проводят для отчёта. Поставят горячий мотор ровно, поддержат обороты, увидят четыре килограмма и подпишут «исправно». А потом тот же поддон окажется на правом уклоне в Андах.

Про Анды я ляпнул лишнее. Барсуков перестал улыбаться, а Сазонов задержал на мне взгляд.

— В каких ещё Андах? — спросил Барсуков.

На карте в комнате Сазонова Южная Америка была показана крупно; на плакате в медпункте маршрут шёл через весь континент. Знать о горах мог любой, кто прочитал материалы марафона. Я пожал плечами, и рёбра тут же наказали за неосторожность.

— Маршрут после Рио идёт на запад и потом к северу. Там не всё будет ровным шоссе.

— Не всё, — подтвердил Туманов. — Пётр Михайлович, мотор всё равно надо проверять. Если Серов несёт чушь, три часа это покажут. Если нет — лучше узнать здесь.

Сазонов повернулся к нему.

— А отбор?

— Отбор можно обещать после врачей и отдельно. Он просит право попытаться, не моё место. — Туманов посмотрел на меня. — Пока не моё.

Нина провела красным карандашом по двум провалам, совместила ленты на просвет и сказала без всякого желания делать мне подарок:

— Здесь разная скорость протяжки, но начало падения совпадает с устойчивым углом руля. На двух ноябрьских записях и на двух кругах перед аварией. Этого недостаточно для вывода о маслоприёмнике. Достаточно, чтобы версию не закрывать.

Пётр Михайлович снял секундомер с шеи и положил на стол. Жест получился серьезнее, чем если бы он ударил ладонью.

— Хорошо. Три часа на предварительную проверку. Не на чудо, не на разбор всего мотора и не на выступление перед комиссией. Барсуков руководит стендом. Елагина отвечает за измерения. Туманов проверяет, похож ли режим на то, что было на кольце. Серов пишет программу и работает руками, если врач не запретит. Обнаружите воспроизводимый провал — я рассмотрю допуск к подготовке. Про отбор поговорим потом. Не обнаружите — вопрос закрыт.

— И отказ от претензий? — спросил я.

— Напишешь в любом случае. Для архива. Формулировку выберу сам.

Барсуков поднялся, подошёл к стеллажу и снял с нижней полки чёрный масляный поддон. Через сливную пробку была продета проволока с круглой свинцовой plombой; на боку висела бирка комиссии. Семён Ильич поставил железо передо мной так, что на стол посыпалась засохшая грязь, и вытер ладони свежим номером газеты.

— Три часа. Не найдёшь — сам понесёшь обратно, герой.

Глава 3. Три часа на пределе

Поддон оставил на верстаке грязный прямоугольник. Барсуков вынул из нагрудного кармана часы, щёлкнул крышкой и сообщил, что от трёх часов у меня уже осталось два пятьдесят восемь. Видимо, время пошло с той секунды, когда железо коснулось стола. Я взялся за край, собираясь хотя бы осмотреть швы снаружи, но Семён Ильич придавил поддон свёрнутой газетой.

— Сначала врач. Пётр Михайлович сказал: руками работать, если разрешат. Без разрешения можешь только думать, а это у тебя и лёжа получается.

— Пока схожу, снимите размеры креплений.

— Пока сходишь, я чай допью. Не командуй в чужом боксе, герой, у нас от этого ключи теряются.

Нина уже держала дверь. Спорить с ней и Барсуковым одновременно было бессмысленно, поэтому я пошёл в медсанчасть, потеряв ещё минуту на попытку надеть пальто одной рукой. В коридоре Нина молчала до лестницы, затем отобрала у меня справку, прочитала знакомые строки и сунула обратно так, будто документ оказался поддельным, но придаться пока было не к чему.

— Что ты собираешься делать с поддоном?

— Поставить на двигатель, залить масло, нагреть и повторить правый крен. Если заборник оголяется, давление просядет.

— На неподвижном масле.

— Для начала.

— Ты второй раз говоришь «для начала», когда не знаешь, что будет потом.

Раньше подобное замечание я счёл бы придижкой. Сейчас оно попало в самое неприятное место: потом я действительно видел смутно. Можно было наклонить двигатель, изменить уровень, дать обороты, но на дороге масло не лежало в поддоне аккуратной лужей. Оно било в стенки при разгоне, уходило вперёд на торможении, вспенивалось от коленвала и возвращалось с головки. В современной лаборатории мне подготовили бы расчёт и стендовую программу. Здесь до окончания пари оставалось меньше трёх часов, а ближайшим вычислительным прибором была Нина с красным карандашом.

— Потом будем решать по результату, — сказал я.

— Вот теперь честно.

В медсанчасти меня приняла не Тамара Григорьевна с полигона, а сухая пожилая врач в белом халате, пахнувшим табаком сильнее, чем лекарствами. Она заставила снять рубашку, ощупала рёбра, послушала лёгкие и дважды переспросила, зачем человеку с сотрясением понадобился моторный стенд. Я ответил, что стенд без меня может сломать двигатель. Врач сказала, что это не медицинский диагноз, велела не поднимать больше пяти килограммов, запретила садиться за руль и написала на обороте справки время повторного осмотра. Нина проследила, чтобы запрет на вождение был сформулирован разборчиво. В боксе мы появились через двадцать три минуты после ухода.

Барсуков действительно пил чай. Рядом с ним стоял крупный коротко стриженный парень в брезентовом фартуке и крутил в левой кисти ключ на семнадцать, будто разминал пальцы. Тело Виктора узнало его без прежней неприязни — скорее с осторожностью человека, который когда-то одолжил инструмент и не вернул вовремя.

— Шустов, — представил Барсуков. — Геннадий Михайлович, когда начальство рядом. Гена, когда надо быстро. Он будет делать оснастку, потому что тебе врач разрешила поднимать только собственную важность.

Гена оглядел повязку на руке, синяк, справку и остановился на моём лице.

— Я слышал, ты машину укоротил.

— Переднюю часть немного.

— В прошлый раз мостовой пролёт проверял на прочность, теперь кузов. Широко работаешь.

Он произнёс это без улыбки. Я не понял, шутит он или заносит в старый счёт, и решил не угадывать.

— Нужна рама, чтобы наклонить двигатель вместе со стендом на двадцать два градуса вправо. С упором, не на домкратах.

— Уже лучше, — сказал Гена. — Прежний Серов попросил бы два домкрата, а про упор вспомнил, когда всё легло на бок. Откуда двадцать два?

— Пока ниоткуда. Нужны радиус пятой дуги и скорость по кругам.

Туманов, всё ещё остававшийся в боксе, снял со стола ведомость и перевернул чистой стороной. Радиус он помнил приблизительно, Нина нашла в лаборатории схему кольца с промерами. Мы считали втроём: скорость на двух кругах, время прохождения, поправка на зимнее покрытие. Я сначала назвал двадцать семь градусов, Нина молча обвела ошибку — я взял не тот радиус. Получилось чуть больше двадцати одного. Гена выслушал спор, приложил ключ к рисунку вместо линейки и ушёл в соседнюю мастерскую, прихватив лист, на котором мы ещё не закончили.

— Бумагу верни! — крикнула ему Нина.

— У меня металл по ней резаться будет. Потом склеишь.

Я составил программу на обороте старого наряда. Масло девяносто пять градусов, четыре режима от трёх до пяти с половиной тысяч, правый крен двадцать два градуса, по двадцать секунд на режиме, затем минута, потом три. Отдельно — уровень по верхней метке, середина щупа и нижняя. Барсуков прочитал, зачеркнул пять с половиной тысяч и написал пять двести.

— Мотор после переворота. На стенде доказываем неисправность, а не устраиваем вторую аварию.

— На кольце было больше.

— На кольце у тебя и крыша снизу оказалась. Будем повторять всё подряд?

С этим спорить не стоило. Я добавил контроль температуры через каждые пять минут и проверку давления двумя приборами: штатным датчиком и механическим манометром. Нина забрала карандаш, вписала калибровку до и после каждого наклона, а также отдельную отметку положения двигателя. Получился не мой план и не её — лист уже был испещрён тремя почерками, включая размашистые замечания Барсукова. Семён Ильич всё равно называл его «бумажкой» и требовал не мешать людям работать.

Гена вернулся с двумя отрезками швеллера, старой рамой от приспособления для коробки и винтовым подъёмником. Никакой новой оснастки за оставшееся время он построить не мог, зато умел смотреть на заводской хлам без уважения к его прежнему назначению. Раму положили на бок, срезали одну проушину, приварили две другие. Крепление получилось безобразным, тяжёлым и, судя по тому, как Гена прыгнул на нём обеими ногами, достаточно прочным.

— Пятьдесят восемь килограммов, — сообщил он, слезая. — Серов, ты легче?

— Сейчас да.

— Тогда держит. Тащить будешь глазами.

Я работал правой рукой там, где не требовалось усилие: очищал плоскость, раскладывал болты, проверял метки. Барсуков поставил снятый мотор на стенд, затем мы вернули опечатанный поддон. Свинцовая пробка на сливной пробке осталась целой; масло заливали сверху, через горловину. Сначала холодное, густое, оно медленно исчезало в головке. Когда щуп показал верхнюю метку, Семён Ильич провернул вал вручную, прокачал систему и только после этого разрешил запуск.

Мотор ожил тяжело. Первые секунды в нём звенело всё, что успело остыть после аварии, потом шум выровнялся. Вытяжка загудела, воздух в боксе быстро сделался горячим и горьким. Нина стояла у двух манометров, Туманов — возле тахометра, Гена следил за креплениями рамы. Мне достались секундомер Сазонова и программа. Пётр Михайлович сам в бокс не пришёл, но его часы на моей ладони тикали достаточно громко.

На трёх тысячах давление держалось. На четырёх — тоже. Мы подняли правую сторону рамы, винт застонал, двигатель медленно накренился, масло в поддоне ушло к стенке. Нина называла показания, я записывал. Двадцать секунд. Минута. Три. Стрелки дрожали от вибрации, но не опускались ниже допуска.

— Уровень до середины, — сказал я.

Барсуков слил часть масла через отдельный технологический штуцер, не трогая пломбу. Повторили. Давление стало ниже на холостом, с оборотами поднялось и опять застыло. Я ждал знакомого провала так напряжённо, что начал видеть движение стрелки раньше, чем оно происходило. Нина дважды останавливала меня: сначала я записал падение на одну десятую, которого не было, потом принял за него запаздывание второго прибора.

— Не подталкивай стрелку глазами, — сказала она. — Ей всё равно, что ты поставил на кон.

— Ещё пять градусов.

— В программе двадцать два.

— На дороге мог быть удар о снежную колею.

Туманов посмотрел на схему кольца.

— До льда машина шла ровно. Удара не было.

Я всё же попросил двадцать семь. Гена переставил страховочный упор, рама поднялась выше. Давление удержалось. На тридцати градусах маслоприёмник должен был уже оказаться опасно близко к поверхности, но даже там насос не хватал воздух. Барсуков положил ладонь на рукоять подачи топлива и дождался, когда я сам покажу сбросить обороты.

До конца первоначальных трёх часов оставалось одиннадцать минут. Нагретое масло пахло иначе, чем на бумажной ленте, и этот запах мне не нравился сильнее нулевого результата. Я мог потребовать вскрыть поддон, найти ослабленный болт или кривую трубку и объявить причиной первое попавшееся отклонение. Именно так рождаются удобные дефекты: сначала нужен виноватый, потом под него подбирают следы.

— Возвращаем в горизонт, — сказал я. — Статикой не воспроизводится.

Барсуков сразу убрал обороты. Гена опустил раму, Туманов закрыл кран охлаждения. Только Нина не двинулась: она держала перед лампой две старые ленты и сравнивала провалы с положением руля.

— На ноябрьской записи длинная правая была ещё до этого участка, — сказала она. — Давление там держалось. Провал начался на перекладке после короткой левой, потом руль снова ушёл вправо.

— Масло не успело успокоиться, — отозвался Туманов. — На пятой дуге вход с торможением. После неё машина на разгруженной стороне подпрыгивает два раза. Я там каждый круг ловил заднюю ось.

Гена вытер палец о фартук и ткнул в нашу программу.

— А здесь ваш поддон лежит как покойник. Наклонили, подождали, покрутили. На машине его сначала швыряет вперёд, потом влево, потом вправо. Вы не тот опыт ставите.

Это было сказано без инженерных слов и потому прозвучало особенно обидно. Я смотрел на неподвижный мотор, слушал, как в нём стекает масло, и понимал: почти за три часа мы аккуратно доказали лишь то, что двигатель способен работать на боку в тёплом помещении. Для гонки через три континента достижение сомнительное.

Сазонов пришёл, когда секундомер показал последние четыре минуты. Вслед за ним появился человек из комиссии, забрал пломбу под подпись и осмотрел крепления. Пётр Михайлович увидел горизонтальную раму, ровные строки давления и не стал спрашивать, нашли ли неисправность.

— Значит, вопрос закрыт.

— Стендовый — да, — сказала Нина раньше меня. — Дорожный нет. Мы не воспроизвели переменную нагрузку.

— Вы просили три часа.

— Серов просил, — уточнила она. — Я предлагаю нормальную проверку двигателя из партии. С дополнительным датчиком и записью на кольце.

Сазонов перевёл взгляд на Туманова. Тот не торопился спасать своё пари. Снял с подоконника перчатки, надел одну, разгладил пальцы и только потом заговорил.

— Я поведу. Режим помню. Если провала нет, мотор вернём на стенд и забудем. Если есть, лучше узнать до отправки.

— Врач запретил Серову водить, — сказал Пётр Михайлович.

— Я слышал, — ответил я. — Но на пятой дуге нужен человек, который почувствует начало разгрузки до лампы. Я могу...

Нина вынула из моей справки загнутый край и развернула его на столе. Слово «запрещено» врач подчеркнула дважды. Туманов взглянул на бумагу, потом на меня.

— Если знаешь режим, дай его в цифрах. Для этого руль не нужен.

Я хотел сказать, что цифры не заменят рук. Так говорил прежний Виктор Нине, только другими словами, и за это уже лежало незаконченное письмо в ящике. Пришлось проглотить готовый ответ.

— Два прогревочных. На третьем вход сто тридцать пять, перед перекладкой короткий сброс до четырёх восьмисот, затем газ без рывка. Если лампа моргнёт — сцепление, зажигание, уходишь на внутреннюю обочину. Не пытайся дотянуть круг.

— Вот и договорились, — сказал Туманов. — Цифры я понимаю.

Для дорожного опыта требовалась машина. Свободный ресурсный кузов стоял в соседнем корпусе без двигателя: его мотор сняли для дефектовки после ноябрьских заездов. Гена оценил расстояние, кран-балку и список отсутствующих деталей.

— Сорок минут, если никто не будет спрашивать, почему мы это делаем ночью.

— Уже спрашиваю, — сказал Сазонов.

— Тогда час.

Пётр Михайлович посмотрел на ровную линию давления, потом на ленты. Моё пари закончилось; это было видно по тому, как он убрал секундомер в карман. Но вместе с ним не исчезли четыре одинаковых провала на записи и двигатель, который предстояло отправить в марафон.

— Один контрольный заезд как проверка партии, — решил он. — Не как продолжение торга. Серов остаётся вне водительского состава. Елагина отвечает за измерения, Туманов за режим, Барсуков за мотор. Шустов собирает. Если к полуночи машина не готова, прекращаем.

— А я? — спросил я.

— А ты объясняешь, что именно мы не увидели на стенде. Ртом. Поднимать тебе врач запретил.

Гена уже катил к воротам моторную тележку. Услышав последнюю фразу, он обернулся.

— Ртом тоже можно мешать. Я скажу, если начнёт.

Ресурсную машину пригнали не из соседнего корпуса, а из-под навеса за ним. Там она простояла без капота и успела набрать в салон мелкого снега; на месте пассажирского сиденья лежала коробка с полуосями, из печки торчал пучок проводов. Гена открыл водительскую дверь, посмотрел внутрь и прибавил к обещанному часу ещё десять минут. Сазонов не спорил. Он снял пальто, повесил на крючок и остался в боксе, хотя мог назначить ответственного и уйти. От этого все стали двигаться быстрее, кроме Барсукова. Семён Ильич как возился с мотором без суеты, так и продолжил: вытер посадочную плоскость сложенной вчетверо газетой, проверил каждую шпильку, заставил Гену заменить надорванную подушку, которую в обычную ночь наверняка поставили бы до утра.

Стенд пришлось разбирать. Я мог удерживать фонарь, подавать головки и путаться под ногами; всё, что весило больше врачебных пяти килограммов, у меня отнимали. На третьем таком случае я попробовал возразить, и Гена сунул мне в здоровую руку грязный стакан с гайками.

— Держи. Четыре восемьсот. Если докинуть шайбу, будет пять. Медицинская норма.

— Ты их взвешивал?

— Я верю в науку.

Пока кран переносил двигатель, Нина устраивала в салоне измерительную станцию. Из лаборатории принесли второй датчик, коробку усилителя и самописец в сером чемодане. Чемодан не помещался между сиденьями, которых всё равно не было, и его притянули ремнём прямо к полу. Перо чертило на узкой бумажной ленте нервную синюю линию; рядом шла отметка оборотов. Я предложил вывести только аварийную лампу, чтобы не задерживаться с прибором, но Нина даже головы не подняла.

— Лампа скажет, что давление упало. Самописец скажет, когда и насколько.

— Он переживёт кольцо?

— Если Шустов не привяжет его своим узлом.

Гена, лежавший под машиной, высунулся до плеч.

— Узел хороший. Ремень плохой.

Он потребовал ещё один и затянул чемодан так, что первым при перевороте оторвался бы пол. В салон вернули пассажирское сиденье, Нина села рядом с Тумановым и проверила, дотягивается ли до выключателя самописца в перчатках. Под приборной панелью загорелись две лампы: штатная тусклая и новая, крупная, с красным стеклом от какого-то стенда. Туманов попросил убрать её из глаз. Нина подвинула патрон на ладонь вправо. Он попросил вернуть половину. Перебранивались они спокойно, как люди, которым не требовалось доказывать, кто из них главный в машине.

Я снова прошёл программу с Тумановым, уже на пустой площадке перед воротами. Он выслушал, затем повторил порядок действий — не для памяти, а чтобы я услышал свою ошибку, если она есть. На словах про внутреннюю обочину нахмурился.

— На пятой там снег от отвала. Если мотор выключу в середине дуги, до внутренней не дойду. Останусь снаружи, за столбом судьей.

Я представил кольцо: выход, уклон, сугроб у металлического ограждения. В голове оно до сих пор лежало вверх ногами, как в последние секунды аварии, и мне пришлось мысленно поставить дорогу на место.

— Правильно. Только не тормози двигателем.

— Сцепление и зажигание я запомнил с первого раза.

— Тогда зачем переспросил про обочину?

Туманов подтянул ремешок на перчатке.

— Чтобы понять, ты видишь трассу или читаешь мне наставление из книжки.

К полуночи опоздали на восемнадцать минут. Сазонов посмотрел на часы, на заведённую машину и разрешил ехать, не комментируя собственный срок. Барсуков остался у ворот, прислушиваясь к мотору. По звуку тот работал чисто; давление на прогреве держалось так же уверенно, как на стенде. Гена в последний раз проверил замок капота и отошёл, вытирая ладони о фартук. Туманов включил фары. Нина придержала на коленях планшет, хотя обе руки ей понадобились бы уже на первом торможении.

— Если бумага кончится, — крикнула она из салона, — возвращаемся сразу. Не добавляйте круг от себя.

— Я не добавляю, — сказал Туманов.

На меня он не посмотрел. Машина выехала за ворота и растворилась в снегу, оставив две полосы света на стене соседнего корпуса. Мы с Сазоновым и Барсуковым сели в дежурный фургон; Гена повёл его к судейской будке. Ехать за испытуемой машиной по кольцу было нельзя: фургон добрался напрямик и высадил нас у пятой дуги. Ночь стояла безветренная, пар изо рта не уносило, он висел перед лицом и мешал смотреть. За дальними ёлками двигатель сначала едва слышался, потом звук вырос, перескочил на повышенную и прошёл мимо нас по прямой. Два прогревочных круга Туманов сделал быстрее, чем я ожидал. На третьем Барсуков поднял голову ещё до того, как появились фары.

— Четыре семьсот, — сказал он.

— Четыре восемьсот, — поправил Гена.

— Под нагрузкой просядет.

Они замолчали. Свет лёг на внешний сугроб, скользнул по кольям и начал поворачивать. Машина вошла в дугу ровно, без лишнего заноса. Я следил не за ней, а за звуком: короткий сброс, затем открытый дроссель. Мотор вытянул ноту, продержал её секунду, другую, и вдруг оборвался. Не захлебнулся, не застучал — Туманов выключил его сам. Через мгновение машина выкатилась из поворота бесшумно, только шины шуршали по смерзшемуся снегу. Фары качнулись и остановились у внешней кромки, точно там, где он обещал.

Я уже бежал, забыв и про врача, и про лёд. Сазонов схватил меня за рукав, удержал от падения, после чего отпустил. До машины первым добрался Гена. Он поднял капот, но к ключу не потянулся.

— Лампа? — спросил я, открывая пассажирскую дверь.

Нина сидела, прижав планшет к животу. На нижнем краю листа осталась синяя клякса — перо сорвалось от толчка. Она подала мне бумажную ленту. Линия давления на входе в поворот пошла вниз не резко, а ступенями: просела, вернулась, ещё раз просела и почти легла на ноль. Обороты в это время оставались под нагрузкой.

— Большая загорелась первой, — сказал Туманов. Он всё ещё держал левую ногу на сцеплении, хотя машина стояла. — Штатная моргнула после. Я выключил сразу.

— Сколько мотор работал без давления?

— Если верить отметке, меньше секунды, — ответила Нина. — До этого два провала по три десятых. На стенде таких не было.

Барсуков вынул шуп. Уровень оказался чуть ниже середины, как и перед выездом. Он растёр масло между пальцами, понюхал, потом велел Гене снимать машину с кольца на буксире. Сазонов не произнёс ни слова до самого бокса. Там он нашёл представителя комиссии, который заснул за столом на собственном портфеле, и попросил вскрыть пломбу. Тот посмотрел на часы с видом человека, которому следовало брать деньги за ночной тариф, однако протокол заполнил и свинец снял при всех.

Масло сливали через сетку. Стружки не было, только несколько тёмных крупинок нагара. Это ничего не доказывало, но Барсуков перестал сжимать губы. Пока мотор висел на кране, он снял поддон, придерживая его снизу, и медленно опустил на верстак. Мы увидели заборник

сразу. Его чашка стояла косо, не сильно — на глаз можно было принять за заводскую форму, — зато на трубке возле опорной лапки блестела свежая полоска. Один болт лапки отвернулся почти на два витка. Под шайбой металл был чистым, без старого масляного налёта.

Гена потянул трубку вниз. Та послушно качнулась.

— Вот тебе и ртом, — сказал он.

Барсуков отстранил его, проверил затяжку у насоса и сам пошатал заборник. На стенде чашка оставалась в масле, а трубка лежала в одном положении. В кузове её било вместе с двигателем; ослабленная опора давала трубке играть, и на правой дуге чашка поднималась ещё на несколько миллиметров как раз тогда, когда масло уходило к наружной стенке. Неисправность была мелкой и от этого особенно мерзкой. Такой болт на приёмке мог держаться. Мог пройти обкатку. Мог молчать тысячу километров, пока машина не попала в длинный поворот с разогретым маслом.

— Затянуть, законтрить, и всё, — сказал человек из комиссии. Он явно надеялся вернуться к портфелю.

— Нет, — ответили мы с Ниной одновременно.

Она взяла поддон и наклонила его над тазом. Остатки масла неторопливо собрались у стенки. Никакой перегородки между этой стенкой и чашкой не было; только неглубокая выштамповка мешала жидкости вернуться сразу. Я подложил под край деревянный брусок, придал поддону расчётный крен и увидел, как быстро открывается верх сетки. Если бы трубка стояла жёстко, провал случился бы позже или не успел стать опасным. Если бы в поддоне масло удерживалось у заборника, ослабший болт тоже мог бы ничем себя не выдать. Вместе две мелочи превращались в остановленный мотор.

Барсуков разложил на газете болт, шайбу и опорную лапку.

— На сборке недотянули. Может, резьба потянулась после удара. Поддон для обычной машины, а не для ваших каруселей. В акте так и пишем. Только без слова «дефект партии», пока остальные моторы не посмотрим.

— А остальные посмотрим, — сказал Сазонов.

Представитель комиссии вздохнул и снова раскрыл портфель. Я прислонился к верстаку, потому что от резкого бега по кольцу виски начали стучать в такт пульсу. Проигранное пари уже не имело значения. Перед нами лежала причина, но устранить её одной затяжкой значило дожидаться следующего сочетания мелочей — другого поворота, меньшего уровня, чуть более жидкого масла. В Мексике никто не станет вскрывать мотор после каждого длинного виража.

Я потянул к себе лист и нарисовал поперёк поддона перегородку, которая должна была отсечь объём вокруг заборника. Оставил снизу щель для поступления масла, сверху — окно под трубку. Гена посмотрел через моё плечо, взял другой карандаш и подписал возле щели: «Ворота для тараканов».

— Миллиметров восемь, — сказал я. — Масло пройдёт.

— Когда стоит. А когда ты его пнёшь тормозами, оно через эти ворота и уйдёт.

— Тогда сделаем лепесток внутрь.

Нина развернула рисунок к себе и провела красную стрелку в противоположную сторону.

— Левый крен. Масло останется здесь, за твоей сплошной стенкой. После правого поворота оно не успеет вернуться к заборнику.

— Окно сверху.

— Сверху будет воздух. Ты хочешь заливать чашку воздухом?

Я выхватил карандаш резче, чем требовалось, и тут же пожалел: боль отдалась от запястья в плечо. Рисунок казался очевидным. Я видел похожие поддоны — не этот, другие, сделанные через десятки лет, — и рука сама тянулась повторить знакомую форму. Но выдать память за расчёт не получалось. Нина была права: моя первая перегородка удерживала масло только при одном направлении перегрузки. На связке поворотов она могла сделать хуже штатного поддона.

— Хорошо, — сказал я. — Этот вариант дрянь.

— Быстро согласился.

— Я не настаиваю на ошибках из принципа.

— Раньше настаивал.

Барсуков кашлянул и начал собирать инструмент, будто разговор его не касался. Гена, наоборот, не отвёл глаз. Он уже понял, что между мной и Ниной идёт спор не только о железке, и ждал, чем кончится. От прежнего Виктора, судя по всему, ожидали обиды, хлопнувшей двери и рассказа по всему отделу о том, как конструкторы мешают гонщикам. От себя я ожидал чего-нибудь умнее. Получилось только спросить:

— У вас есть картон?

Картон нашёлся в ящике из-под прокладок. Гена вырезал стенки ножницами по металлу, Нина склеила их липкой изоляционной лентой. Вместо масла налили воду, подкрасив её чернилами из самописца, а чашку заборника изображала перевёрнутая жестяная крышка. Первый макет я утопил, слишком резко наклонив поддон. Синяя вода вылилась на брюки Сазонова. Пётр Михайлович посмотрел на пятно, затем на часы и предложил проводить дальнейшие исследования подальше от его одежды.

Мы перенесли поддон на пол. Со второй перегородкой вода держалась на правом крене, но при торможении уходила вперёд. Гена добавил короткую стенку, Нина прорезала два нижних окна, я загнул картонные язычки внутрь так, чтобы поток мог войти к крышке и не вылетал обратно всей массой. Лента размокала, стенки кривились, пальцы у всех стали синими. Через двадцать минут вокруг условного заборника получился тесный колодец с четырьмя неодинаковыми окнами. Красоты в нём не было. Вода поступала с любой стороны, а при резком наклоне часть оставалась у крышки достаточно долго, чтобы насос не хватал воздух.

— В железе нижние кромки отогнуть, — сказал Гена. — Иначе треснет у шва. Опору трубки дам вторую, от соседней шпильки. Этот болт — под замочную шайбу.

Барсуков, до тех пор делавший вид, что занят исключительно инструментом, присел рядом и дважды качнул поддон. Потом добавил совсем немного воды, ниже нашей условной средней метки. Синее пятно обнажило крышку на выходе из левого крена.

— Окно здесь подними, — сказал он Нине. — С головки масло с этой стороны возвращается. Ваша вода сверху не льётся, а в моторе льётся.

Она передвинула прорезь. Я наклонил поддон ещё раз. При такой проверке нельзя было получить цифру, которой поверит комиссия, зато можно было отсеять откровенно глупую форму до того, как Гена вырежет её из металла. На четвёртом макете вода перестала уходить от крышки во всех положениях, которые мы успели придумать. Нина перерисовала кривые картонки начисто, проставила размеры и подала лист мне на проверку.

— Подписывай, Серов.

— Почему я?

— Ты предложил изменение конструкции.

— Первое изменение пришлось выбросить. Это уже твоё и Шустова.

— Значит, подпишем втроём.

Она сказала это деловым тоном, но карандаш перестал царапать бумагу. После аварии Нина не верила ни одному моему объяснению, и правильно делала: я сам не мог рассказать, почему человек, который всю осень пытался выдавить из машины скорость, внезапно начал считать температуру масла и требовать контрольные испытания. Удобная ложь здесь продержалась бы ровно до следующего вопроса.

— Нина Павловна, — сказал я тише, чтобы не слышали у шкафа. — Я не объясню вам, откуда у меня взялись некоторые мысли. Не потому, что это секрет. Просто объяснение будет хуже правды. Но если я опять предложу чушь, как эту стенку, показывайте сразу. Не ждите, пока я сам догадаюсь.

Она долго смотрела на меня, будто проверяла ещё один прибор перед опытом.

— Я и раньше показывала.

— Раньше он не слушал.

— Ты говоришь о себе в третьем лице.

Я опустил взгляд на чертёж. На языке вертелись слова, после которых пришлось бы врать ещё больше.

— Значит, хорошо ударился.

Нина не улыбнулась. Поставила подпись первой, подвинула лист Гене и сказала, что на «хорошо» медицинская справка не похожа. Затем вернула чертёж мне и заставила второй раз проверить размеры окон. Красный карандаш остался между нами на столе.

Гена изготовил перегородку к четырём утра. Барсуков дважды заставил его переваривать короткий шов, потому что первый повело, а второй он счёл пористым. Дополнительную опору заборной трубки выгнули из полосы и закрепили на соседней точке; старый болт заменили, резьбу проверили, шайбу загнули на грань. Поддон собрали без спешки, хотя все уже поглядывали на часы. Когда Гена в третий раз попросил не придирается к шву, Семён Ильич ткнул газетой в снятый болт и велел торопиться с чем-нибудь подешевле.

Сазонов подписал распоряжение о проверке остальных двигателей и только потом позвал меня в свой кабинет. На столе у него стоял давно остывший чай, рядом лежали два документа: моя расписка о трёх часах и черновик акта по заезду.

— Своё пари вы проиграли, Серов. Уложиться не смогли.

— Смог бы, если бы сразу погнал машину на кольцо.

— Тогда вы бы угадали. Один раз. Мне не нужен человек, который быстро угадывает и потом объясняет победу талантом.

Я сел без приглашения; перед глазами от недосыпа ходили мелкие точки.

— Вам нужен мотор, который не ляжет в Андах.

— Мне нужна команда, способная понять, почему он может лечь, и исправить до старта. Сегодня такая команда случайно собралась. Вы в ней полезны, но руль это вам не возвращает.

— Тогда что возвращает?

— Ничего. Пока. Место в технической группе могу дать сейчас. Испытательная машина, работа с Елагиной и Барсуковым, отчёт лично мне. Вопрос о составе экипажей останется закрытым до медицинской комиссии.

Он намеренно разделял машину и экипаж. Можно было принять техническое место, помочь собрать марафонные «Москвичи» и смотреть, как на них уезжают другие. Для Виктора Серова это, вероятно, было хуже увольнения. Для меня — возможность всё-таки довести до Лондона железо и понять, зачем я очнулся именно в его разбитом теле. Но соглашаться сразу не хотелось: Сазонов должен был увидеть, что одним табуретом у стенда отделаться от меня не получится.

— А если до комиссии я докажу, что решение выдерживает гонку?

— За одну ночь вы можете доказать только то, что способны не спать.

— Дайте программу.

Сазонов подвинул ко мне чистый бланк и сам написал сверху: «Три часа». Ниже поставил режимы — горячее масло на нижней метке, правые и левые дуги, серия торможений, повтор пятого поворота, контроль давления после каждого этапа. Некоторые значения он взял из моей программы, остальные продиктовал Туманову по телефону. Подписывал лист уже руководитель, отвечавший за все заводские машины; с вечерним собеседником, которого я пытался взять на упрямство, договариваться было поздно.

— Выдержит без падения давления — оставлю вас в технической группе и допущу к отборочным работам после врачей. Это не место за рулём. Не обещание места. Даже не преимущество.

— Понял.

— Не понял. Но подпись всё равно ставьте.

Я подписал. Сазонов промокнул чернила, отдал бланк и задержал мою расписку у себя. Формально я уже проиграл, однако он не порвал бумагу. Наверное, собирался хранить как средство от моей самоуверенности.

Трёхчасовую проверку начали в пять семнадцать. К этому времени поддон стоял на месте, масло было залито по нижнюю метку, а машина снова обрела капот, пассажирское сиденье и способность передвигаться без буксира. Над заводом светлело. Небо за окнами из чёрного стало грязно-синим, ночная смена тянулась к проходной, утренняя шла навстречу и удивлялась машине с номерами полигона, вокруг которой толпились люди из разных отделов.

Сазонов поставил складной стол у судейской будки, положил на него секундомер и программу. В испытании он отвёл семь минут на остановки: одна проверка уровня после первого часа и одна — после второго. Всё остальное время Туманов должен был двигаться. Правые дуги чередовались с левыми на змейке, затем шла серия разгонов с резким торможением, длинный круг и снова пятая. Режим получился неприятный даже для исправного двигателя и совсем не похожий на обычную обкатку. Туманов прочёл лист, попросил заменить слово «резко» на замедление в цифрах и заставил нас поставить на площадке отметку начала торможения. Пока Гена вбивал в мёрзлую землю колышек, Семён Ильич слушал прогрев и ворчал, что испытатели способны замучить мотор одной канцелярией ещё до запуска.

На этот раз я остался не у поворота, а возле стола. Смотреть оттуда было хуже, зато самописец вывели длинным кабелем в будку: Нина могла видеть ленту на каждом проходе и менять бумагу, не трясаясь в салоне. Под капотом закрепили контактный датчик, провод протянули через щель у крыла. Гена дважды проверил, не перетрётся ли изоляция. Барсуков заставил проверить третий раз и только после этого захлопнул капот.

— Начали, — сказал Сазонов.

Туманов ушёл на первый круг. Я ждал, что давление дрогнет на том же месте, хотя понимал: если наша жестяная коробка работает, ничего зрелищного не произойдёт. Линия самописца держалась. После правой дуги чуть просела вместе с оборотами, на газу вернулась к прежней отметке и больше не шевельнулась. Нина поставила на полях время и температуру. Через десять минут повторила. Потом ещё раз. Разговаривать нам было не о чем, поэтому мы слушали машину и ругались с усилителем, у которого от холода плыл ноль.

Первый час прошёл без провала. Туманов остановился у стола, не выключая мотор. Гена открыл капот, Барсуков вынул щуп, вытер его своей газетой и проверил уровень дважды. Масло держалось на нижней метке; доливать по условиям было нельзя. Нина сверила оба датчика. Из семи минут мы потратили четыре сорок, и Сазонов не перенёс остаток на следующую остановку.

— Самочувствие? — спросил он у Туманова.

— Скучно.

— Значит, программа хорошая.

Туманов выпил воды, размял пальцы и снова сел за руль. После часового гула тишина между кругами стала неприятной. В ней слышалось, как Нина рвёт край ленты, как Гена постукивает ключом по ладони, как Барсуков шепчет ругательства на человека, пролившего чай на его газету. Мне всё хотелось дописать в программу ещё один режим — длиннее держать газ, раньше тормозить, поднять обороты. Придумывал я их не от большого инженерного ума. Просто страшно было стоять и ждать. Машина и без моих добавок получала больше, чем получит на отборе, а сломать её для убедительности мы всегда успеем.

На сто пятнадцатой минуте давление качнулось. Перо ушло вниз на толщину линии и вернулось. Я наклонился к ленте; Нина уже проверяла электрический ноль.

— На торможении, — сказала она. — Обороты упали на четыреста. В пределах.

— Раньше такого не было.

— Раньше масло было холоднее. Дождись повторения.

Повторения не случилось. Когда истекли два часа, Туманов встал точно у колышка. На этот раз по программе требовалось проверить не только уровень, но и крепление поддона, опор двигателя и провод датчика. Гена подкатил низкую тележку, лёг на неё и въехал под машину. Мотор продолжал работать на холостом ходу; от днища шёл жар, талый снег капал ему на фартук. Он называл точки снизу, Барсуков отмечал на листе. На третьей гайке ключ звякнул о бетон.

— Масляная рука, — сказал Гена и нащупал его с первого раза.

Через минуту ключ выпал снова. Никто, кроме меня, не смотрел под машину. Гена достал его правой рукой, а левую спрятал под грудью и несколько раз сжал, упершись запястьем в край тележки. Кисть не слушалась. Значит, семнадцатый ключ он всю ночь крутил не просто так: проверял пальцы и делал это, пока остальные смотрели в другую сторону.

Сазонов объявил, что осталось три минуты остановки. Я опустил на колено у тележки.

— Вылезай. Провод самописца проверить надо, ты его тянул.

— Провод на месте.

— Я его ногой задел.

Это была плохая ложь: кабель проходил с другой стороны. Гена посмотрел на мои ботинки, затем на лицо. Спорить при Барсукове он не стал, выкатился и сразу сунул левую руку в карман фартука. Я занял его место, взял тёплый ключ и дотянул две оставшиеся точки. Усилия там требовалось немного, но лежать под заведённой машиной после бессонной ночи оказалось достаточно, чтобы снова поплыло зрение. Когда я выбрался, Гена уже стоял у самописца и шевелил штекер правой рукой.

— Контакт цел, — сообщил он Нине. — Ногой не задевали.

Она мельком взглянула на меня. Я пожал плечами и полез застёгивать капот. Гена ничего не объяснил, я тоже. Если бы я объявил всем про его кисть и героически отправил отдыхать, он запомнил бы не помощь, а то, как его выставили неисправной деталью перед старшим мастером. До окончания проверки оставался час. Следить за звуком и лентой он мог одной рукой не хуже нас, а про гайки мы поговорим потом, без зрителей.

На последнем блоке Туманов ехал злее. Усталость выдавала себя короткими заносами на выходе со змейки; один раз заднее колесо снесло колышек, и Гена пошёл ставить новый, пока машина была на длинном круге. Левую руку из кармана он уже вынул, но ключ держал правой. Барсуков прислушался к мотору и бросил на него быстрый взгляд. Возможно, Семён Ильич давно всё знал и ждал, когда Шустов перестанет считать остальных слепыми.

За двенадцать минут до конца погода решила добавить к нашей программе своё испытание. Пошёл мокрый снег, фары начали выхватывать густые косые полосы, покрытие на пятой дуге потемнело. Сазонов подошёл к Туманову во время прохода мимо будки, показал ладонью сбросить темп. Я схватил его за локоть.

— Тогда последний блок не засчитаем.

— Если он разобьёт вторую машину, засчитывать будет нечего.

— Снизить вход на десять, газ оставить по программе. Боковая нагрузка упадёт, но масло уже горячее, чем на первом часу.

Сазонов высвободил руку. Я приготовился услышать приказ не лезть, однако он посмотрел на Нину.

— Давление?

— Стабильно. Температура сто четыре.

Он показал Туманову десять пальцев и движение вниз. Тот понял. Последние круги машина прошла медленнее, но мотор под тягой оставался столько же. Давление не падало. Когда секундомер щёлкнул на трёх часах, Туманов не остановился сразу: сделал круг охлаждения, вернулся к столу и только потом заглушил двигатель. В наступившей тишине все по привычке продолжали смотреть на синюю линию, хотя перо уже замерло.

Барсуков первым вспомнил, что результат ещё надо проверить. Масло слили в мерную ёмкость, вскрыли фильтр, сняли поддон. Перегородка держалась, на швах трещин не было, новая опора не сдвинулась. В сетке нашли тонкую нитку герметика и ничего больше. Семён Ильич вынул её пинцетом, приклеил к акту и написал рядом, что причиной падения давления она служить не могла. Человек из комиссии проснулся окончательно только тогда, когда понадобилось поставить четвёртую подпись.

Отчёт обсуждали там же, в боксе. Садиться никто не хотел: стоило опуститься на стул, и подняться до вечера уже не получилось бы. Сазонов листал графики, Нина объясняла отклонение на сто пятнадцатой минуте, Туманов описывал покрытие и режим последнего блока. Барсуков потребовал не ограничиваться испытательным мотором и проверить крепления заборников на всей подготовленной партии. Гена молчал у шкафа, массируя левое запястье через ткань кармана.

— За счёт чего устранён провал? — спросил Сазонов, дойдя до моего эскиза.

— Моя перегородка удержала запас масла вокруг чашки, а вторая опора убрала перемещение трубки.

Нина перестала листать журнал. Не демонстративно — просто закрыла его и положила красный карандаш вдоль корешка. Гена посмотрел в пол. На чертеже стояли три подписи, мокли в синей воде четыре картонных макета, а я за одну фразу успел присвоить себе ночь целиком. Даже прежнему Серову понадобилось бы больше времени, чтобы всё испортить.

— Наша, — поправился я. — Первую мою перегородку Нина Павловна выбросила, потому что на левом крене она запирала масло снаружи. Форму окон считали вместе. Вторую опору предложил Шустов, Барсуков изменил сливное окно. Я начал с неправильного стендового опыта, Туманов довёл дорожный режим. В отчёт надо вписать именно так, иначе на следующей машине каждый повторит только удобную ему часть.

Нина снова открыла журнал, перечеркнула что-то на полях и продолжила запись. Благодарить меня за возвращённое ей авторство она, конечно, не стала. Гена вынул руку из кармана и взял со стола ключ. Сазонов прочитал три фамилии под чертежом, задержался на моей и отложил лист.

— В техническую группу зачислю распоряжением с понедельника. Водительский вопрос не обсуждается до комиссии. Туманов, отоспитесь и к четырнадцати принесите замечания по режиму. Елагина, оформление изменения через главного конструктора. Барсуков, проверка партии сегодня, но другой сменой. Этих людей домой.

— Мне тоже? — спросил представитель комиссии.

— Вас особенно.

Все засмеялись с опозданием, даже он. Смех получился сонным и злым, но после него люди наконец начали расходиться. Нина собрала ленты, Гена завернул в газету старый болт и сунул в карман как улику. Я задержался у стола, ожидая, когда Сазонов подпишет последний лист. Техническая группа давала мне доступ к машинам, полигону и людям. За руль она не пускала. Получалось, я выиграл именно то, на что соглашаться вчера не собирался.

Пётр Михайлович надел пальто и велел идти за ним. Мы прошли вдоль опустевшего корпуса к дальней стене, где под брезентом хранили списанные кузовные панели. За воротами уже было настоящее утро; через верхние окна тянулся серый свет, на полу блестели лужи от колёс. Сазонов остановился у самого большого чехла и отбросил край.

Под ним стоял голый кузов на козлах. Без дверей, стёкол, проводки, мостов и двигателя — одна светлая скорлупа с меловыми пометками на порогах. Пятый комплект для марафона я видел в сборочном корпусе. Этот был шестым.

Сазонов постучал костяшками по передней стойке.

— До Лондона она не заявлена. До машины ей тоже далеко. Хотите шанс — соберите экипаж, который никто другой не возьмёт.

Глава 4. Экипаж из списанных

К голому кузову я вернулся через девять дней. Декабрь успел кончиться, повязка на ладони сменилась полоской пластыря, а врачи разрешили короткие выезды на закрытых маршрутах — без соревнований и под ответственность руководителя работ. Сазонов прочитал последнюю приписку дважды, расписался и велел не принимать это за возвращённое место. Потом снял брезент с шестого кузова и положил на крышу папку с фамилиями тех, кого не взяли в основные пять экипажей.

Список был коротким. Быстрые пилоты уже сидели в заявленных машинах, лучших штурманов и механиков разобрали. Оставались недостаточно здоровые для комиссии, недостаточно удобные для руководства и слишком тяжёлые для напарников, которым предстояло провести с ними двадцать пять тысяч километров. Пётр Михайлович дал мне сутки, чтобы назвать троих, и запретил обещать им Лондон. Шестой заявки ещё не существовало; машины, судя по пустым дверным проёмам, тоже.

— Вы сказали: экипаж, который никто другой не возьмёт.

— Именно. Не троих обиженных людей, готовых дружно ненавидеть остальных. Если это всё, что найдёте, кузов пойдёт на запчасти.

— А если найду?

Сазонов застегнул папку и оставил её у меня.

— Проверю, способны ли вы провести вместе двенадцать часов. После прошлой ночи трое суток не предлагать. Я хочу увидеть работу, а не галлюцинации от недосыпа.

Первую фамилию я в папке не искал. Шустов работал в моторном боксе и до обеда разобрал два заборника из проверяемой партии. Один болт оказался затянут, второй Семён Ильич отвернул без ключа и перестал ругать комиссию за лишнюю работу. Гена у мойки оттирал сетку, держа левую кисть под тёплой водой. Услышав шаги, он перекрыл кран, вытер руку о фартук и взял ключ на семнадцать. Поздно: я заметил оба движения.

— Серов, если пришёл благодарить, говори быстро. К обеду я добрый, потом сахар падает.

Я положил перед ним папку, но открывать не стал.

— Пойдёшь третьим в шестую машину?

Щётка перестала скрести сетку. Гена посмотрел сначала на меня, затем на левую руку, будто вопрос относился к ней.

— Нет.

— Быстро.

— Ты тоже быстро предложил. Позавчера мы даже за одним столом не ели, вчера ты под машину вместо меня полез, сегодня решил взять в Лондон. Доброта у тебя после сотрясения приступами?

— Не в Лондон. Пока на проверку. Машину ещё не заявили.

— Тогда тем более. Буду талисманом при пустом кузове. Очень почётно.

Он бросил щётку в таз и понёс к стеллажу тяжёлую корзину левой рукой. До верхней полки донёс, но поставил криво; крышки внутри загремели. Я не помог. Протянутая рука сейчас подтвердила бы его обвинение.

— Мне нужен человек, который слышал восемьсот оборотов сквозь стену и раньше лаборатории понял, что опыт идёт неправильно, — сказал я. — Поддон ты сделал за ночь, на кольце первым добежал до машины и не полез заводить, пока не увидел ленту. Жалость здесь ни при чём.

— А рука?

— Я её видел.

Гена развернулся. Ключ в его пальцах остановился.

— Кому сказал?

— Никому. Барсуков, возможно, и без меня знает.

— Семён Ильич знает, что на холоде прихватывает. У меня справка есть: к работе допущен.

— Я не врач. И увольнять тебя не собираюсь.

— Очень щедро. Ты ещё не взял, а уже не увольняешь.

В соседнем пролёте уже слушали. Один моторист слишком долго выбирал отвёртку. Я кивнул Гене на боковую дверь; тот заметил чужое внимание и пошёл за мной во двор. Между корпусами несло сухой снег, зато разговор о его кисти никому не достался бы случайно.

— Условия простые, — сказал я. — Ты механик и третий водитель. Всё, что можешь делать один после двух часов работы, учишь делать нас двоих. Не показываешь издали и не исправляешь потом молча. Учишь. Если рука откажет на дороге, операция не должна умереть вместе с ней.

— Значит, всё-таки инвалид.

— Значит, у меня тоже ограничения. После трёх часов за рулём правая нога затекает, на вторые сутки я пропускаю еду и становлюсь увереннее именно тогда, когда хуже соображаю.

— Нога у Виктора была целой, но старые привычки перейдут в марафон вместе со мной. — Если ты меняешь полуось быстрее, этого мало. Я должен суметь заменить её по твоей команде, пока ты ведёшь машину или не чувствуешь пальцев.

Гена сунул обе руки в карманы фартука. На морозе его раздражение не остыло, зато стало тише.

— Полуось на четыреста двенадцатом в грязи менял? Карбюратор К-126 разбирал?

— Полуось — нет. Карбюраторы другие, этот только по схеме.

— Рессору с одной подставкой?

— Тоже нет.

— И чему я вас буду учить, если вторая звезда такая же?

— Второй звёзды не будет. Будет штурман.

— Штурман — это человек, который сидит справа, бережёт карандаш и говорит, что мы свернули не туда пятнадцать километров назад?

— Если найдём хорошего, скажет до поворота. Если очень хорошего, заставит развернуться, когда я начну спорить.

Гена посмотрел на меня с искренним интересом, будто именно здесь услышал первую неправдоподобную часть предложения.

— Такой с тобой не поедет.

— Поэтому Сазонов и дал список тех, кого остальные не берут.

Я протянул папку. Он раскрыл её, пробежал первые строки и нашёл свою фамилию. Возле неё стояло: «ограничение по кисти, рекомендован сервис». Красный карандаш добавил сбоку «вопрос дисциплины». Почерк был не Нинин и не Сазонова.

— Кто это написал?

— Не знаю.

— Узнаешь — не говори. Я тогда соглашусь из неправильных причин.

Он закрыл папку и вернул мне.

— На проверку пойду. В экипаж не обещаюсь. И под машину вместо меня больше не лезь тайком. Хочешь помочь — скажи в лицо.

— Скажу. А ты скажешь, когда пальцы начнут неметь.

— Много условий для человека без машины.

— Машину проще собрать.

Гена фыркнул и потянул дверь на себя.

- После такого обычно говорят: «чем экипаж». Очень смешно получается.
- Я не договорил.
- Вот и не договаривай. На проверку я уже согласился.

Леонида Кравцова в спортивном отделе не оказалось. Он взял отпуск и жил в заводском общежитии, хотя числился в резерве. Перед тем как дать адрес, Сазонов показал прошлогодний протокол: экипаж Кравцова пропустил контроль, получил сорок минут штрафа и сошёл, пытаясь вернуть время. Причиной значилась ошибка легенды. Под фамилией штурмана кто-то дописал: «не настоял на остановке».

- Он ошибся? — спросил я.
- Все ошибаются.
- Он дал неверную команду?

Сазонов застегнул воротник, хотя в кабинете было жарко.

— Кравцов дважды сообщил, что расстояние не сходится. Пилот решил догнать следующий ориентир. Через восемнадцать километров они поняли, что идут параллельной дорогой. Вины штурмана комиссия не сняла: легенду составлял он. Вины пилота тоже. С тех пор Кравцов произносит предупреждение один раз. Если его не слышали, замолкает.

— Очень полезное качество в машине.

— Вы хотели того, кого не возьмут другие. Удобные люди кончились на первых пяти номерах.

До общежития мы с Геной добрались после смены. На четвёртом этаже пахло варёной капустой и сапожным кремом, за дверями играло радио и кто-то учил немецкие слова. Гена нёс две бутылки кефира и батон: без еды звать человека в экипаж неприлично, а с водкой слишком похоже на вербовку.

Дверь открыл худой мужчина в шерстяном жилете. Очки лежали в жёстком футляре; без них Кравцов шурился и держал голову чуть боком. В одной руке был короткий нож, в другой — карандаш, заточенный на длинную ровную грань. На кровати лежали карты Подмосковья, тетради и разобранный механический счётчик.

— Серов, — сказал он, узнав меня. — Если за извинением, вы ошиблись дверью. Я не Елагина.

— За экипажем.

Кравцов надел очки, и прищур исчез. Теперь он смотрел прямо.

— Тем более ошиблись.

Гена поднял пакет.

— А мы с кефиром.

— Тогда на кухню. Там как раз стаканов нет.

От порога он не отошёл, и объяснять пришлось в коридоре: шестой кузов, возможная поздняя заявка, проверка, никакого обещанного старта. Услышав о главном штурмане, Кравцов продолжил точить карандаш.

— Главный штурман у Серова, — повторил он. — Это тот, кому разрешают говорить между переключениями передач?

Тело Виктора подсказало, что насмешка не случайна. Где-то в его прошлой памяти Кравцов уже сидел справа и замолкал после окрика. Картинка не пришла, осталось только раздражение — чужое, старое, почти удобное. Я не стал пользоваться им.

— Это тот, чью команду водитель исполняет. Даже если считает её ошибочной.

Нож остановился. Гена повернул голову ко мне, проверяя, не оговорился ли я.

— Красиво, — сказал Кравцов. — Теперь расскажите, почему я должен верить человеку, который прошлой осенью выкинул мою легенду из машины и повёл по дорожным знакам.

— Не должны. Согласитесь на проверку и не верьте.

— А после проверки?

— Решите по тому, что я сделаю, когда наши мнения разойдутся.

Он отложил карандаш к четырёх таким же. Все были одинаковой длины, стружка лежала ровными полукольцами. После обвинения в неточности Кравцов, похоже, не позволял себе кривого среза даже на деревяшке.

— Условия проверки знаете?

— Сазонов ещё не назначил.

— Значит, вы пришли собирать экипаж, не зная, что ему предстоит.

— Знаю достаточно. Двенадцать часов вместе. Если после них никто никого не придушит, Пётр Михайлович усложнит задачу.

— Вы шутите?

— Плохо получается, — заметил Гена. — Я уже проверял.

Кравцов пропустил это мимо ушей. Он взял верхнюю карту, сложил по старым сгибам и убрал в папку.

— Я соглашусь на одну проверку. Командовать вами не буду. Дам легенду и предупреждения, как положено. Решение останется за водителем.

— Нет, — сказал я.

В коридоре хлопнула дверь кухни. Кравцов дождался, пока шум стихнет.

— Тогда нам не о чем говорить.

— Если опасность в легенде, решение уже принято. Водитель подтверждает и исполняет. Спорить можно после участка.

— Вы даже не знаете, как я читаю.

— Для этого проверка.

— А я знаю, как водите вы.

Он сказал это без злости. Прежний Серов уже дал ему достаточно материала, а моё благоразумие существовало девять дней и подтверждалось одним поддоном. Кравцову предлагали поставить под него жизнь.

— Знаете, — согласился я. — Возьмите отдельную тетрадь и записывайте каждый случай, когда я не подтвердил команду, переспросил поздно или сделал по-своему. После маршрута покажете Сазонову.

— А если первый такой случай будет последним?

— Тогда тетрадь останется короткой.

Гена наконец поставил кефир на пол.

— Леонид Аркадьевич, пойдёмте. Мне интересно, он только обещает подчиняться или действительно заболел. Заодно кефир спасём, у вас тут батарея жарит.

Кравцов посмотрел на пакет, на мою папку, затем убрал нож в чехол.

— На одну проверку. И обращаться будете Кравцов. Лёней меня люди называют после того, как хотя бы раз приехали туда, куда я их вёл.

— Справедливо, — сказал я.

— Не уверен. Но удобно проверяется.

Проверку Сазонов назначил на субботу. Перед испытательным корпусом стояли три серийных «Москвича-412» без гоночных номеров. Наш был светло-серым, с потрескавшимся ковриком и печкой, пахнувшей пылью. На рулевой колонке комиссия закрепила опломбирован-

ный контрольный тахометр; в багажник положила инструмент, запаску, канистру, трос и запечатанный ящик, который разрешалось открыть только на контрольном пункте. Гена осмотрел машину. Сазонов не сказал, что с ней делали до нас.

Туманов вёл первую машину с привычным штурманом и механиком, во вторую посадили резервистов из нашей папки. Места не разыгрывались: Сазонов сравнивал работу. Двенадцать часов, шесть контролей, двадцать минут обязательного отдыха и не меньше часа за рулём у сменного водителя. На каждом отрезке — заданная средняя скорость. Ранний приезд штрафовался, превышение на скрытой отметке — вдвое. Разгоном не выиграть; заблудиться, сломаться или переругаться вполне хватало, чтобы проиграть.

— Неисправности будут? — спросил Гена.

— Машина серийная, — ответил Сазонов.

— Серийность у нас тоже неисправность, но я про ваши руки.

— Считаете себя механиком — разберётесь.

Пока Кравцов сверял легенду с картой, я развернул на заднем сиденье инструментальный рулон. Ключи лежали вперемешку — терпимо для гаража днём и плохо для метели. Я достал три мотка изоленды и пометил часто нужные: красным — десять, синим — тринадцать, жёлтым — семнадцать.

Гена смотрел так, будто я раскрашивал плоскогубцы цветочками.

— Зачем?

— Чтобы ночью любой нашёл нужный размер.

— Размер пальцами чувствуется.

— Твоими. Пока они чувствуют.

Он поднял жёлтый ключ.

— А двенадцать?

— Без ленты.

— Очень точная система: нужный цвет или никакой. Светофор для слепого слесаря.

— При красном дорожном свете цвета различаются плохо, — заметил Кравцов.

— Спасибо. Штурман пригодился раньше старта.

Гена забрал ленту и пометил не размеры, а группы: красным — карбюратор и зажигание, синим — то, что требовалось снизу, жёлтым — колёса и подвеска. Получилось понятнее моего варианта, хотя он этого не признал.

С командами Кравцова вышло хуже. Он читал привычно: расстояние, ориентир, поворот. Мне требовался порядок, при котором усталый водитель не примет предупреждение за пояснение.

— Говорите сначала поворот, потом расстояние, в конце опасность, — предложил я. — «Правый, четверста, мост». Я подтверждаю последнее слово: «мост».

— Зачем повторять то, что только что услышали?

— Чтобы вы знали: я услышал опасность.

— Я увижу, затормозили вы перед мостом или нет.

— Тогда поздно.

Кравцов поправил очки и постучал карандашом по отдельной тетради.

— На коротких связках подтверждение наложится на следующую команду.

— Тогда повторяю только опасность. Не повторил — даёте команду снова.

— Значит, трачу время на вашу невнимательность.

— Не волнуйтесь, Кравцов. Если он пропустит три команды, я жёлтым ключом постучу. Жёлтый у нас для головы и подвески.

Сазонов, проходивший мимо открытой двери, услышал последнюю фразу.

— Через двенадцать часов доложите, что оказалось неисправно в голове. Старт в семнадцать ноль-ноль. Туманов уходит первым, резерв через три минуты, вы ещё через три. Финиш-

ные окна: Туманову с четырёх пятидесяти пяти до пяти ноль пяти, вам с пяти ноль одной до пяти одиннадцати. За пределами — штраф.

Кравцов сверил часы с судейскими и заточил два карандаша. Гена трижды коснулся крышки клапанов. Я повторил норматив и ограничение оборотов. Каждый занимался привычным делом, но общего ритуала у нас ещё не было.

В семнадцать ноль шесть судья опустил флажок. Я тронулся без пробуксовки и направил машину к Волгоградскому проспекту. Вечерний поток ещё не рассосался, снег между колеями превратился в серую кашу. Кравцов называл перестроения заранее и отмечал остановки у светофоров. Команды были простыми, но я подтверждал все.

— Левее после путепровода, восемьсот, знак ограничения.

— Ограничение.

— Прямо, два и шесть, развилка. Держаться правой.

— Правой.

После десятого повторения собственный голос начал раздражать, после двадцатого Гена попросился в багажник. Я подтвердил «мост», хотя Кравцов сказал «пост», и получил первую запись на полях.

— Может, без созвучий? — спросил я.

— Может, слушать?

— Пост я вижу.

— Тогда зачем подтвердили мост?

Гена коротко засмеялся и сделал вид, что кашлянул. Я проглотил ответ: формат предложил сам.

За городом стало легче. Первый контроль устроили на автобусной остановке возле тёмного посёлка. Мы прибыли за сорок секунд до окна, остановились заранее и пересекли линию по поднятой ладони Кравцова точно в назначенную минуту.

— Так можно, — сказал он, когда судья поставил штамп.

— Что именно?

— Исполнять команду. Не привыкайте к похвале.

На втором отрезке дорога ушла в лес, передние колёса потянуло к рыхлой обочине. Кравцов без напоминаний перестроил чтение под новый порядок. «Левый, двести, лёд» прозвучало буднично, хотя под снегом блестела накатанная полоса. Я подтвердил «лёд», сбросил скорость и прошёл дугу без заноса. В тетради не появилось отметки — видимо, это и было похвалой.

Двигатель дёрнулся через два часа после старта. Один пропуск, потом второй. Стрелка тахометра падала резко, одновременно с рывком, тогда как свет фар оставался ровным. Я уже знал причину, когда Гена только поднялся с заднего сиденья.

— Низкое напряжение на катушку. Провод или клемма.

— Капот открывали? — спросил он.

— По тахометру видно.

— По тахометру видно, что искры нет. Про катушку ты уже придумал.

Мотор снова подхватил. До расчётного контроля оставалось одиннадцать минут и семь километров. Я хотел дотянуть на работающих цилиндрах, но Кравцов закрыл ладонью строку легенды.

— Время на ремонт есть. Через семьсот площадка справа.

— Площадка, — подтвердил я.

Гена шумно выдохнул. Видимо, ожидал, что я полезу диагностировать его работу и одновременно проигнорирую штурмана. Машина дотянула до расчищенного кармана, я выключил зажигание. Под капотом всё выглядело целым. Гена включил фонарь, пошевелил провода и попросил запустить. Двигатель заработал, затем заглох, когда он коснулся тонкого провода

у катушки. Изоляция держалась, медные жилы внутри были надрезаны; на вибрации конец отходил от клеммы.

— Угадал, — сказал я.

— Не мешай радоваться. Красный ключ дай.

Я протянул помеченную десятку. Гена посмотрел на неё и потребовал восьмёрку без ленты. Гайка оказалась мелкой; в полутьме я выбрал бы не тот ключ и потерял ещё полминуты. Он обрезал повреждённый конец, зачистил жилу, снова зажал клемму и обмотал изоляцией. Левая рука придерживала провод, работала правая. Я стоял с фонарём и слишком часто смотрел на часы.

— Четыре минуты.

— Знаю.

— Если через минуту не готово, берём запасной провод.

— Тоже знаю.

— Контрольное окно...

Гена выпрямился так резко, что ударился затылком о край капота.

— Водитель, сядь за руль. Штурман, считай своё окно. Мотором здесь занимаюсь я. Если хочешь чинить — сначала спроси, что держать.

Кравцов смотрел на него поверх крыши. Я уже открыл рот, чтобы напомнить, кто собрал эту поездку, но увидел в свете фонаря обрезок провода на снегу. Причину я назвал первым и с тех пор не сделал ничего полезного, только отсчитывал Гене секунды, которые он и без меня чувствовал.

— Что держать?

Он помолчал, не ожидая вопроса.

— Свет. Ниже. И не дёргай.

Я опустил фонарь. Через сорок секунд мотор запустился с первого оборота. Мы прибыли на контроль позже идеального времени на минуту двадцать, уложились в допустимое окно и получили одну минуту штрафа. Туманов шёл чисто. Вторая машина уже набрала четыре.

— Поехали, — сказал я, забирая карту у судьи.

— Сначала запишите неисправность, — потребовал Гена.

— На следующем прямом.

— Сейчас. Потом забудешь, какой конец отрезали, и в отчёте получится «починили провод».

Кравцов подал ему тетрадь, но Гена покачал головой.

— У него своя. В моей только то, что он не слышит.

Я записал: место обрыва, состояние изоляции, время ремонта и потерю. Гена продиктовал, что медные жилы были надрезаны заранее, а не перетёрлись. Последнее слово он выделил дважды.

— Думаешь, Сазонов заложил?

— Думаю, он спросит, почему мы решили. А «я умный и угадал» к акту не подошьёшь.

Мы продолжили путь. После ремонта в салоне стало теснее, хотя все сидели на прежних местах. Кравцов давал команды, я подтверждал, Гена молчал сзади. Я чувствовал его взгляд всякий раз, когда стрелка тахометра шевелилась на кочке. Пригласить человека за слух и скорость ремонта было легко. Гораздо труднее оказалось не демонстрировать рядом собственную компетентность, особенно когда она сработала раньше его.

Третий контроль мы прошли без штрафа. На обязательном отдыхе Кравцов выпил чай из термоса и вычел из оставшегося норматива нашу минуту. Гена проверил клемму, ремень и уровень масла. Я размял спину, заставил себя съесть бутерброд и не полез под капот. Мир от этого не кончился, зато Гена впервые после ремонта сам сказал, что машина готова.

Через полчаса под днищем появился стук. Он возникал на мелкой гребёнке и пропадал на ровном покрытии: негромкий, пустой, будто в багажнике перекачивался забытый ключ. Я попросил Гену проверить инструмент. Тот придержал рулон ногой, затем наклонился к центральному тоннелю и прислушался.

— Не сзади. Тяга бьёт.

— Какая?

— Остановись — узнаем.

Кравцов посмотрел на часы. До четвёртого контроля оставалось шестнадцать километров и двадцать одна минута; запас после отдыха мы почти выбрали.

— На следующем километре площадок по легенде нет, — сказал он. — Дальше перекрёсток и пост.

— До поста дотянем, — решил я. — Передачи включаются нормально, руль без люфта.

Гена снял перчатку и положил ладонь на тоннель. Стук повторился на серии ям. Он сразу сел прямо.

— Стой сейчас.

— Обочина рыхлая.

— Серов, стой, мать твою. Это не просьба посмотреть когда-нибудь.

Кравцов перевёл взгляд с него на меня. В тетради лежал карандаш, готовый к новой отметке. Я видел время, ровную дорогу впереди и огни поста вдалеке. Машина не виляла, рычаг передач держался, двигатель тянул. Слишком много признаков говорило, что несколько километров мы пройдем. Я продолжал смотреть на секундную стрелку ещё дольше, чем было нужно для решения.

— Справа мягкая обочина, сто пятьдесят, въезд к лесовозной дороге, — сказал Кравцов.

— Въезд, — подтвердил я и начал тормозить.

Едва машина замерла, Гена распахнул дверь. Он лёг поперёк порога, подсветил тоннель снизу и нашёл ослабший шарнир тяги переключения. Гайка держалась на последних витках; ещё несколько километров по гребёнке, и мы остались бы без нормального включения второй и четвёртой. Не смертельно. Достаточно, чтобы опоздать на контроль гораздо сильнее.

— Синий тринадцать, — сказал он.

Я достал ключ по цвету и подал рукоятку вперёд. Гена принял, не глядя.

— Светофор для слепого слесаря пригодился?

— Не разговаривай, свет уводишь.

Он затянул крепление, проверил соседний шарнир и вылез. Я ждал насмешки или лекции, но Гена только отряхнул снег с локтей.

— В отчёт запишешь сам. Причина остановки: механик услышал, водитель торговался.

— Запишу.

— И что две минуты потеряли из-за торга.

— Полторы.

— Вот опять.

Кравцов стоял у переднего крыла, держа часы перед фонарём.

— Три десять с момента первой просьбы остановиться. Из них минута тридцать восемь до полной остановки.

Гена кивнул ему.

— Штурман пригодился второй раз.

Я записал цифры без округления в свою пользу. На четвёртый контроль мы пришли с тремя минутами штрафа, хуже обеих машин. Туманов сохранял ноль, резервисты имели две. Сазонова на пункте не было, только судья и термос на табурете. Он поставил отметку, не спросив, почему мы опоздали; объясняться предстояло после финиша.

За руль сел Гена. Час сменного водителя мы всё равно были обязаны пройти, а после ремонта тяги мне требовалось либо дать ему управлять машиной, либо честно признаться, что третьим я ищу только механика на заднем сиденье. Он устроился быстро: отодвинул кресло до упора, проверил свободный ход педалей и спросил у Кравцова первый норматив. Левую кисть положил на руль сверху, расслабленно, без обычного ключа для проверки пальцев. Я пересел назад и сразу понял, почему ему не нравились наши разговоры. Из-за спинок голоса звучали глуше, карта была не видна, водительские движения угадывались по плечам. Там легко почувствовать себя грузом, которого спрашивают только при поломке.

Гена вёл не быстро, зато мягко. Мотор у него ни разу не провалился ниже нужных оборотов, сцепление работало коротко, колёса не рыскали по рыхлой кромке. Кравцов сначала давал те же команды, что мне, потом убрал подтверждение: Гена повторял последнее слово сам, без напоминаний. Через двадцать минут они разговаривали так, будто уже ездили вместе.

— Правый, триста, сужение.

— Сужение.

— За ним сразу левый к знаку. Не распускай.

— Левый.

Я поймал себя на желании поправить траекторию из-за спины. На входе Гена оставил больше места, чем оставил бы я, и потерял пару секунд. Зато не задел рыхлый вал у обочины, который из салона казался мягким, а под снегом мог скрывать камень. Комментировать было нечего. Пришлось сидеть, слушать двигатель и наблюдать, как двое людей обходятся без моих указаний.

На пятом контроле мы попали в своё окно. Судья проверил карту, потребовал вскрыть опечатанный ящик и вынуть верхний конверт. Под ним лежали два мешка с песком — балласт, изображавший часть будущего запаса. В конверте оказалась поправка к последнему отрезку: из-за снегопада основной проезд через деревню закрывался, всем машинам предписывалось выбрать объезд по обычной дорожной карте и пройти скрытую отметку у железнодорожного переезда. Норматив увеличили на девять минут. Туманов ушёл до нас, резервисты получили конверт двумя минутами раньше.

Снег пока падал мелкий, почти сухой. Я вернулся за руль. Кравцов разложил карту на планшете и сразу предложил северный обход по шоссе: восемнадцать лишних километров, зато дорога шла лесом и проходила через два крупных посёлка. На карте была и другая линия — короче, почти прямая. Просёлок пересекал открытое поле, огибал торфяные выработки и соединялся с нужной дорогой в четырёх километрах от переезда.

— Почему не здесь? — спросил я, ткнув пальцем.

— Зимняя дорога без твёрдого покрытия. После ветра её переметает первой.

— Следы грузовиков есть.

За перекрёстком действительно уходили две тёмные колеи. По ним недавно прошла тяжёлая машина, снег ещё не успел затянуть протектор.

— До первых торфоразработок ездят, — сказал Кравцов. — Дальше на карте низина и открытое место. Берём север.

— Север добавит двадцать минут. Нам дали девять.

— Норматив дали всем. Кто полезет прямо, добавит больше.

Гена сзади наклонился между креслами, посмотрел на карту и на следы.

— Я бы поехал лесом.

— Почему?

— Там люди живут. Значит, чистят.

— Люди и здесь ездят.

— До торфа, Кравцов же сказал.

Двигатель работал, часы шли. На прямой дороге я мог сократить почти четырнадцать километров и вернуть штраф, накопленный из-за моих же ошибок. Колея выглядела проходимой; снег под грузовиком спрессовался, ветер пока слабый. Я видел такие места сотни раз и знал, что скорость решает: держишь тягу — машина идёт вверх, струсил и сбросил — садишься на днище. Карта Кравцова не знала, когда здесь прошёл грузовик. Мои глаза видели свежий след.

— Прямо, — сказал я.

Кравцов снял очки и убрал в футляр. Не для лучшего зрения — он просто собирался перестать быть штурманом, раз его решение не требовалось.

— Тогда легенду дальше составляете сами.

— Я не сказал, что решение принято. Объясните по рельефу.

— Уже объяснил. Низина. Открытое поле. Дорогу задувает поперёк, колея грузовика заканчивается у разработок. Северный объезд длиннее, но имеет покрытие и населённые пункты. Если вам нужны другие слова, от перестановки дорога не станет твёрже.

Ветер бросил на стекло пригоршню снега. Дворники размазали её по краям. В наушнике другого шлема много лет назад Кирилл говорил почти тем же усталым голосом, только вместо торфа была промоина и вместо карты — легенда, в которой не сходились двести метров. Я тогда тоже видел след впереди. Видел пыль соперника и решил, что глаза честнее человека справа. «Не держи газ, Андрей». Две секунды, после которых спорить уже было не с кем.

Здесь никто ещё не погибал. Перед нами стоял серийный «Москвич», до ближайшей деревни было несколько километров, в багажнике лежал трос. Можно было проверить свою правоту почти безопасно, заплатив только временем. Именно поэтому желание свернуть прямо оказалось таким липким: опасность недостаточно велика, чтобы уступить, а награда видна на часах.

Кравцов держал закрытый футляр в руке. Он не повторял предупреждение. Всё происходило так, как описал Сазонов: один раз сказал, затем оставил пилоту право ошибиться.

— Северный объезд, — произнёс я. — Левый на шоссе?

Он не сразу надел очки.

— Левый, сто двадцать, перекрёсток. После него прямо одиннадцать и четыре, опасность — боковой ветер на выходе из леса.

— Ветер.

Я включил передачу и повернул налево. Никакого облегчения не почувствовал. Наоборот, первые километры следил за каждой минутой и мысленно считал, насколько прямой путь был бы быстрее. Кравцов давал команды сухо, без прежних пояснений. В тетради он поставил длинную черту и что-то написал, прикрыв строку ладонью.

Снег усилился через десять минут. Деревья закрывали дорогу не полностью, но на про света машину толкало боком, а встречные фары возникали из белой стены поздно. Гена протирал заднее и боковые стёкла рукавицей; печка не успевала за тремя людьми и мокрой одеждой. Среднюю скорость пришлось снизить. Мы потеряли ещё пять минут, затем семь. На выезде к большому посёлку впереди показались габариты грузовика. Он тянул на тресе второй серый «Москвич» — машину резервистов. Правый борт был облеплен снегом до ручек, из-под заднего моста свисала оборванная петля буксировочного троса.

Я остановился рядом. Их водитель открыл дверь и, перекивая ветер, объяснил: короткая дорога закончилась у торфоразработок. Дальше метров двести они шли по колее, потом сели. Вытащил грузовик из посёлка. Машина цела, но двадцать восемь минут потеряны, а сцепление пахнет так, что механик запретил трогаться своим ходом до проверки.

— Трос нужен? — спросил Гена.

— Есть. Езжайте, мы доберёмся.

Кравцов не посмотрел на меня. Он уточнил, не перекрыт ли переезд, записал ответ и дал следующую команду. Я подтвердил. Желание сказать «вы были правы» пришло сразу и потому показалось дешёвым: произнести очевидное после встречного грузовика ничего не стоило. Нужно было запомнить момент раньше — перекрёсток, свежую колею и закрытый футляр в его руке.

До скрытого контроля мы добрались с опозданием на две минуты. Судья стоял под навесом у переезда и едва успевал удерживать листы. У Туманова обнаружилось превышение средней скорости на предыдущем участке: он прошёл отметку раньше допуска и получил четыре минуты. Мы сохранили свои три, потому что потеря на метели укладывалась в расширенное окно. Резервисты ещё не появились.

— Теперь можно вернуть часть времени, — сказал я, когда шлагбаум поднялся.

Кравцов сверился с расчётом.

— Нельзя. Следующая скрытая отметка может стоять через пять километров. Держим заданную среднюю.

— До финиша сорок семь.

— И один час двенадцать минут. Запас есть.

— Если снег не станет сильнее.

— Если станет, запас понадобится. Ровно восемьдесят, прямо, подъём скользкий.

— Скользкий.

Я удержал восемьдесят. Через три километра на обочине стояла судейская «Волга», спрятанная за автобусной остановкой. Человек в тулупе записал время и номер нашей карты. Если бы я начал возвращать минуты, получили бы двойной штраф. Гена свистнул с заднего сиденья.

— Кравцов, вас теперь можно Леонидом Аркадьевичем называть или рано?

— Так меня и до поездки называли.

— Тогда всё ещё проверяем.

Последний час прошёл без поломок. Усталость пришла не сонливостью, а мелкой злостью: ремень давил на ушибленное ребро, дворники скрипели, каждая встречная машина выбирала дальний свет именно перед нами. Кравцов дважды заставил снизить скорость там, где дорога казалась пустой. Один раз за поворотом стоял автобус, второй — ничего. Я подтвердил обе команды. Гена задремал на десять минут, проснулся от собственного кивка и сразу спросил температуру. Ни один из нас не был приятным попутчиком, зато машина продолжала ехать.

К заводской проходной мы вернулись в пять ноль две. Туманов уже поставил машину у финишного стола; ходовое время у него оказалось на девять минут лучше, часть запаса он переждал перед финишной линией. Он снял перчатки и спросил, где мы задержались. Я показал в акте провод, тягу и северный объезд. Туманов прочёл цифры, отдельно посмотрел на минуту тридцать восемь до остановки.

— Долго думал.

— Быстро ехал, — ответил я, кивнув на его штраф.

— Поэтому и спрашиваю. Я свои четыре уже записал.

Он сказал без насмешки и ушёл сдавать карту. Препираться не получилось. На финише вообще стало трудно изображать, что чужие ошибки делают мои меньше.

Сазонов разбирал результаты в столовой испытательного корпуса. Утреннюю кашу ещё не привезли, на раздаче стоял вчерашний чай и тарелка подсохшего хлеба. Мы сидели за сдвинутыми столами в куртках. Гена держал кружку правой рукой, левую грел о бок. Кравцов положил перед собой две тетради: маршрутную и ту, где отмечал мои нарушения. Я отдал Сазонову собственный лист раньше, чем он потребовал.

— Обе неисправности заложены? — спросил я.

— Обе, — ответил Пётр Михайлович. — Провод надрезал электрик комиссии. Крепление тяги ослабили на стенде и пометили краской. До полного выпадения оно не дошло бы: шарнир страховался. Потеряли бы передачи и время. Кто нашёл?

— Провод назвал я, подтвердил и устранил Шустов. Тягу услышал Шустов. Я хотел ехать до поста и потерял минуту тридцать восемь до остановки.

Сазонов сверился с листом Гены.

— Три десять.

— Остальное ушло на поиск места и торможение. До решения — минута тридцать восемь.

Гена опустил кружку. Он ожидал, что я снова начну торговаться за полторы минуты, и теперь не знал, куда деть приготовленную реплику.

— Кравцов? — спросил Сазонов.

Леонид открыл вторую тетрадь. На четырёх страницах стояли время, команда и мой ответ. Первые записи касались перепутанного поста, лишних вопросов и попытки изменить формат на ходу. Потом шла задержка с остановкой. Последняя занимала почти половину страницы.

— На развилке после пятого контроля Серов предложил короткий путь через торфоразработки, — сказал он. — Я дал северный объезд и объяснил причину. Он спорил две минуты десять секунд, затем выполнил команду. Короткий путь оказался непроходимым.

— Если бы оказался проходимым? — спросил Сазонов.

— Команда всё равно была бы исполнена, — ответил я.

Кравцов закрыл тетрадь.

— Этого я не знаю. Знаю, что в этот раз исполнил.

Результаты Пётр Михайлович написал на обороте контрольной ведомости. Ходовое время лучше у Туманова. У него четыре минуты штрафа за скорость. У нас три — одна после ремонта провода и две за опоздание к четвёртому контролю после тяги; часть потери удалось вернуть в пределах норматива, не превысив среднюю. Резервисты привезли двадцать девять минут и перегретое сцепление. Победителем Сазонов никого не назвал.

— Туманов подтвердил готовность основного экипажа. По вашей тройке решение промежуточное. Серов умеет угадывать причину раньше механика и останавливаться позже, чем механик требует. Шустов слышит машину, но ждёт до приказа, хотя уже уверен. Кравцов даёт правильную команду и заранее готовится замолчать, если её не приняли. Для двенадцати часов терпимо. Для Лондона — нет.

Гена отломил край хлеба.

— Значит, кузов на запчасти?

— Значит, получите его на сорок восемь часов, когда техническая группа поставит мосты и двигатель. Собираете рабочую машину, проходите непрерывную проверку. После неё решу, подавать ли позднюю заявку и кого указывать экипажем.

— Запчасти от основных пяти? — спросил я.

— То, что останется после основных пяти. Условие не изменилось. Нельзя доказать необходимость шестой машины, разобрав ради неё первую.

Он забрал ведомости и ушёл звонить в сборочный корпус. Туманов допил чай, пожелал нам научиться опаздывать без поломок и последовал за ним. Резервисты задержались у раздачи: их механик продолжал спорить с водителем о прямой дороге, и этот разговор, судя по всему, продлится дольше ремонта сцепления.

Гена дождался, когда мы останемся вдвоём, и положил на стол синий ключ на тринадцать. Лента за ночь покрылась грязью и начала отходить у рожка.

— В экипаж пойду, — сказал он. — Но инструмент раскладываю я. Цвета оставим для вас двоих, а размеры будете учить руками. И если говорю «стой», остановка начинается до вопроса «почему».

— Принимается.

— Не торопись. Второе условие: учиться будете оба. Кравцов тоже.

Леонид снял очки, протёр их краем рубашки и посмотрел на Гену без стекла.

— Я менял колесо.

— Поздравляю. На марафоне дадут грамоту.

Кравцов надел очки обратно. Вместо ответа вынул из папки новую тетрадь — тонкую, в клетку, без единой записи. Положил передо мной, прижал ладонью, чтобы обложка не закрылась.

— Это для легенды? — спросил я.

— Я соглашусь. Но если второй раз решишь, что мой голос — фон, уйду даже посреди Англии.

Глава 5. «Москвич» для конца света

Сорок восемь часов, которыми Сазонов распорядился в столовой так легко, будто выдавал нам не испытание, а два выходных, начались только девятого марта. До этого голый кузов почти два месяца стоял на козлах и медленно обрастал мелом, сварными точками, проводами, чужими запретами и нашими решениями. В первый понедельник января Пётр Михайлович принёс три ведомости. В одной перечислялось то, что техническая группа обязалась поставить без разговоров: отобранный двигатель, мост, рулевое, серийная коробка и двери. Вторая содержала дефицитные детали, уже распределённые между пятью основными машинами. Третья была нашей — всё, что осталось после первых двух.

— Свободных импортных амортизаторов нет, — сказал он, пока Гена читал список. — Новых комплектов шин для вас тоже. Генераторы сначала выбирают основные экипажи, коробки — после них. Свет, приборы и крепёж получите со склада по норме. Если сочтёте норму маленькой, обоснуете, чем лишний килограмм полезнее минуты на дороге.

— А если лишний килограмм — это запасная полуось? — спросил Гена.

— Тогда обоснуете, почему одна полуось полезнее другой детали того же веса. Шестая машина не должна ухудшить первые пять.

Он положил на крышу кузова весовую ведомость с пределом, выше которого нас не допустят к отбору без отдельного решения. Впереди были Европа, два океана и страны, где нужную деталь нельзя попросить с московского склада даже по очень убедительному телефону. Соблазн загрузить всё «на всякий случай» мог убить рессоры раньше первого полезного запаса.

Я развернул на крыше лист обёрточной бумаги и провёл четыре колонки. В первой — что может отказать, во второй — насколько вероятно, в третьей — сколько времени потеряем, в четвёртой — что будет, если не починим. Гена прочёл заголовки, потом взял карандаш и между третьей и четвёртой нарисовал ещё одну черту.

— Масса ремонта, — сказал он. — Не детали, а всего, чем ты её будешь ставить. Полуось без съёмника легче только до первой канавы.

Кравцов добавил шестую колонку: где запас лежит и можно ли добраться до него, не выгружая полмашины под дождь. Свою новую тетрадь он уже разделил цветными закладками: легенда, время, топливо, неисправности и отдельный раздел под команды, которые водитель слышал не сразу. Последний пока оставался чистым, но открывался лучше остальных.

— Начнём со стартера, — предложил я. — Один на машине, второй в запасе.

— Два стартера и ни одной запасной полуоси, — отозвался Гена. — Очень удобно. Если сломается стартер, заведёмся. Если полуось — будем заводиться до эвакуатора.

— Полуоси две.

— Тогда стартер останется на складе.

Мы спорили не о железе, а о способах проиграть. Стартер мог умереть ночью, когда толкать машину некому; без полуоси нельзя было ехать вообще. Кравцов слушал минут десять, затем перевернул лист и написал наверху: «Можно ли продолжить без замены».

— Без стартера иногда можно. Без полуоси — никогда. Вы спорите о вероятности и забыли о результате отказа.

Гена придвинул к нему карандаш.

— Вот теперь можешь считать себя полезным. Две полуоси.

— Я и до этого считал.

— Тогда зачем в общежитии так долго думал?

Кравцов поправил очки и записал решение, не удостоив его ответом. Я зачеркнул запасной стартер. Мне он казался более вероятным отказом, и ещё месяц назад я бы продал свой

вариант, потому что отвечать всё равно пилоту. Теперь рядом лежала тонкая тетрадь, открытая на чистой странице. Я видел её краем глаза и заставил себя спросить:

— Возражения по полуосям есть?

— Уже нет. Но если после каждого решения устраивать голосование, машину соберём к следующему чемпионату.

Сазонов до конца обсуждения не остался. Перед дверью он остановился и посмотрел на лист, где вместо готового перечня росли вопросы.

— К вечеру дайте первые двадцать позиций. Не окончательные — обоснованные. И запомните: отсутствие хорошей детали не считается технической концепцией.

— А наличие плохой? — спросил Гена.

— Это уже серийное производство, Шустов. С ним будете бороться по мере сил.

К обеду мы выбрали полуоси, подшипники, ремни, патрубки, одну катушку, регулятор, набор тормозных трубок и столько крепежа, что по массе он обогнал половину крупных деталей. Гена заставил записывать не только болты, но и шайбы с гайками: на дороге крепёж почему-то никогда не терялся комплектом. Я вычеркнул третий домкрат, Кравцов — второй большой фонарь, а потом вернул маленькую лампу для легенды. Каждый раз освобождалось несколько сот граммов, которые тут же пыталась съесть новая необходимость.

К вечеру на крыше кузова лежал не список машины-победителя, а перечень компромиссов. Он мне не нравился. Именно поэтому я отнёс его Сазонову без исправлений.

С кузовом мы поссорились раньше, чем на него повесили первую дверь. Заводские сварщики уже прошли нагруженные швы короткими участками и ждали, какие косынки ставить у передних стоек, креплений задних рессор и опор каркаса. Я принёс схему проварки, составленную по памяти современных машин: чаще стежок, больше соединённых кромок, жёстче проём. Нина просмотрела её у сварочного поста, сняла рукавицу и красным карандашом перечеркнула почти половину линий.

— Здесь не будем.

— Почему?

— Потому что порог уже усилен изнутри. Если замкнуть весь шов, деформация уйдёт в конец накладки.

— Пусть уходит. Конец накладки тоже усилим.

— Потом усилим место после него, затем следующее и получим тяжёлый кузов, который треснет там, куда ты не догадался приварить ещё железа.

Сварщик держал маску поднятой и с интересом ждал, кто из нас подпишет ему работу. На заводе спор инженера с испытателем был обычным делом; необычным оставалось только то, что испытатель не мог сослаться на готовый проект. Я ткнул пальцем в передний угол дверного проёма.

— В Южной Америке его будет скручивать сутками. Серийная точка разойдётся.

— Разойдётся не точка, а металл рядом с ней, если сделать так. — Нина положила рядом мой лист и свой. На её схеме швы шли короче, а косынки имели вытянутые, скруглённые концы. — Нам нужна не самая жёсткая клетка. Нам нужна клетка, которая не собирает напряжение в одном месте и допускает контролируемое движение. Ты хочешь запретить кузову дышать, потому что не доверяешь ему.

Последняя фраза относилась уже не только к железу, и оттого разозлила сильнее расчёта.

— На финише никого не интересует, доверял я кузову или нет.

— На финише интересует, доехал ли он. А до финиша есть ещё двадцать пять тысяч километров, Серов.

Она велела принести два обрезка порога. Один проварили по моей схеме, второй — по её, затем закрепили на рычажном приспособлении. Настоящего ресурса за час не получишь, но распределение деформации увидишь. На моём образце после нескольких десятков нагруже-

ний краска дала светлую нитку у конца жёсткого участка. Металл ещё держался, однако место будущей трещины уже назвал.

Нинин вариант выгнулся сильнее, зато след растянулся по длине. Я переставил рычаг и повторил нагрузку — результат не изменился. Желание продолжать спор происходило уже не от сомнений.

— Делаем по вашему листу, — сказал я сварщику. — Передние стойки, пороги и задние опоры. Остальное после контрольного промера.

Нина не улыбнулась. Забрала мою схему, аккуратно сложила пополам и положила в папку рядом со своей.

— Мою подпись в ведомости не забудешь?

— После поддона я стал обучаемым.

— После поддона ты научился исправлять фразу, когда уже успел всё испортить.

— Тоже развитие.

Она посмотрела на меня дольше, чем требовал ответ, и впервые после аварии произнесла не фамилию:

— Виктор, если ты собираешься соглашаться только тогда, когда я принесу железо и погну его у тебя перед носом, мы не успеем даже к французской границе.

Имя отозвалось странно. Так ко мне обращались десятки людей, и каждый раз телесная память Виктора принимала его раньше, чем я успевал подумать. Но от Нины оно прозвучало не как привычка и не как прощение. Скорее как испытательный допуск с ограниченным сроком.

— Что предлагаешь?

— Разделить решения. Кузов и подвеска — мои расчёты до тех пор, пока дорога не докажет обратное. Режим ведения и рабочее место — твои. Гена отвечает за ремонтпригодность. Кравцов — за то, чтобы вы не сложили запас так, что он закроет счётчики или карту. Если каждый вопрос снова будет проходить через тебя, машина встанет не от поломки, а в очереди на твоё мнение.

— Сазонов спросит с меня.

— Он спросит со всех по ведомостям. А ты опять хочешь отвечать один, потому что так легче командовать.

Сварщик опустил маску, давая понять, что дальнейший разговор его больше не касается, и зажёл дугу. Белый свет ударил по глазам, железо затрещало. Мы отошли к стене.

Проёмы ещё были пустыми, каркас лежал на полу отдельными трубами, но я уже пытался держать в голове каждый шов, провод и запасной болт. В прежней команде это называли контролем качества. Потом люди приходили ко мне не с решением, а за разрешением, и я сердился, что без меня никто ничего не делает.

— Хорошо, — сказал я. — Кузов твой. Но каждая косынка взвешивается, и после сварки промеряем диагонали.

— Это входит в мою работу.

— Я знаю.

— Тогда не говори так, будто только что придумал.

Она ушла к сварщику и сама поставила мелом первую границу шва. Я остался у стены с перечёркнутой схемой в папке. Принять чужой расчёт оказалось легче, чем перестать сопровождать его собственными условиями. В тот день мне удалось только первое.

К февралю у кузова появились двери, мосты и каркас, а у нас — привычка встречаться возле него раньше смены. Гена приходил первым и трижды касался костяшкой крышки клапанов, хотя двигатель ещё ни разу не запускали. Кравцов точил два карандаша на пустом пасса-

жирском месте, сдувал стружку в ладонь и непременно находил, куда её выбросить, чтобы она не попала в направляющую сиденья. Я повторял вслух дневной предел массы и список работ. Нина обычно уже стояла рядом с журналом и говорила, какая из наших вчерашних идей за ночь не стала умнее.

Машина собиралась не торжественно: снять деталь, промерить, забраковать, поставить другую. Коробку крутили на стенде, полуоси проверяли на биение, тормозные трубки прятали от камней. Потом Гена заставил меня лечь под машину в зимней куртке и найти в перчатках обе точки перекрытия контура.

— Темнота, грязь, глаза залило тормозной жидкостью, левая рука не работает, — перечислял он, пока я нащупывал штуцер. — Я в это время за рулём, Кравцов подаёт ключ.

Леонид Аркадьевич лежал с другой стороны и выбирал синий. Цвета теперь обозначали группы: синий — работа снизу, красный — питание и зажигание, жёлтый — подвеска и колёса. Размер Гена выбил на металле: после первой грязи лента становилась одинаково серой.

Кравцов взял ключ обратно. В очках, лёжа на бетоне, он выглядел человеком, который выбрал очень странный способ доказать значение топографии.

— После сорока восьми часов, если приедем туда, куда я веду, будете называть меня Лёней.

— А если не приедем? — спросил Гена.

— Тогда вам будет не до обращения.

Инструментальную укладку Гена сделал сам: два низких рулона вместо ящика, кассета для головок, сетка частого инструмента и отдельный пакет для грязного. Каждый предмет имел очерченное краской место; пустой контур означал, что ключ остался снаружи или на моторе. Нина предложила сэкономить на креплениях сетки, но Гена напомнил, куда полетит головка при перевороте, и получил четыре дополнительные закладные. Мой шнур для фонаря он перевязал короче: прежний доставал до вентилятора.

Два механических счётчика Кравцова одинаково вращали только на верстаке. Мы промерили контрольные десять километров, сделали четыре прохода на новых шинах, потом поставили более стёртую пару. Разница была небольшой, но на длинном этапе её хватило бы, чтобы искать поворот не там.

— Первый калибруем на новые задние, второй — на средний износ, — решил Кравцов. — В легенде отдельная поправка после каждой перестановки колёс.

— Слишком много цифр во время ремонта, — сказал я. — После прокола никто не будет считать окружность.

— Поэтому таблицу составляем сейчас. Цвет шины, положение, коэффициент. Водитель сообщает перестановку при смене.

— Водитель после трёх часов помнит только, сколько бензина осталось.

— Тогда он не водитель, а ещё одна неисправность.

Спор закончился карточкой передачи машины. Я вписал давление, температуру, топливо и звуки; Кравцов — оба счётчика и последнюю команду; Гена — краны баков, подтёки и вынутый инструмент; Нина — трещины и зазоры дверей. Карточка разрослась, зато мы договорились, что следующий водитель обязан услышать до того, как возьмётся за руль.

— Представим, что я меняю тебя ночью, — сказал Гена. — Что говоришь первым?

— Машина исправна.

— Это похороны, а не передача. Цифрами.

Я перечислил давление, температуру, остаток топлива и небольшой увод вправо, который появился после перестановки шин. Кравцов спросил показание второго счётчика. Я не запомнил. Нина поставила красный крест в строке «навигация».

— Удобно, — сказал я. — Каждый раз, когда я что-то забываю, вы рисуете крест.

— Нет, — ответила она. — Иногда я пишу словами. Для совсем сложных случаев.

В конце февраля двигатель впервые запустили в кузове. Он наполнил участок густым металлическим звуком, и люди с соседних постов подошли, будто до этого мы строили шкаф. Гена слушал головку, карбюратор и помпу через деревянную рукоять отвёртки. Барсуков ждал со своей газетой. Только после прогрева они одновременно кивнули.

Я сел за руль. Педали стояли чуть выше, чем хотелось, рычаг коробки тянулся слишком далеко, дополнительная панель закрывала край тахометра. За спиной упиралась в лопатку труба каркаса — терпимо пять минут и невыносимо через пять часов. Кравцов устроился справа, разложил планшеты и потребовал вторую лампу над левым плечом: от первой рука давала тень на цифры. Гена залез назад и сообщил, что спать здесь можно только человеку без коленей.

Мы двигали кресла, лампы и сетки, пока Нина не заметила, что зазор левой двери вырос на два миллиметра. Я поставил внутрь оба рулона инструмента, воду и контрольный аккумулятор. Кузов не сломался; он показал, что нагрузка уже имеет сторону.

— Всё, что можно, вниз и к центру, — сказал я.

— Это ты два месяца повторяешь, — заметил Гена. — А потом ставишь рядом с собой, потому что тебе так быстрее достать.

Я вынес воду и промолчал. Замечание было справедливым, но в последние недели справедливых замечаний накопилось больше, чем у машины деталей. Они начинали раздражать не содержанием, а количеством.

За четыре дня до испытания машина оказалась тяжелее расчётной ведомости на двадцать один килограмм ещё без полного запаса. Семь нашлись в крепеже и проводке, четыре — в лишних кронштейнах, остальные растворились в краске, защите и округлениях «меньше килограмма». После полной загрузки превышение дошло до сорока одного.

Сазонов прочитал цифру и постучал карандашом по ведомости.

— Хотели обосновывать каждый килограмм.

— Обоснуем сорок один, — сказал я.

— Или снимете их. На отборе прямая дорога тоже будет. Не стройте танк, которому понадобится второй «Москвич», чтобы довезти топливо.

Нина положила рядом список своих усиления. Возле каждого стояли масса, место и причина. Ни одного лишнего кронштейна среди них не оказалось. Я хотел предложить убрать две косынки у задних опор, потому что они весили почти три килограмма. Она поняла раньше, чем я заговорил.

— Сними сначала вторую пару дальнего света, — сказала она. — Вместе с проводкой и реле — больше пяти.

— Ночью свет даёт скорость.

— Пока генератор его тянет.

— Вторая пара нужна на быстрых дорогах, а твои косынки — на всех. Понимаю.

Гена встал между нами с ведомостью.

— Спор откладываем до испытания. Если свет кипит генератор, снимем. Если кузов трещит с косынками, добавим ещё вес и выпьем за инженера. Сейчас машина должна показать, чем она сама недовольна.

Сазонов согласился. В понедельник, девятого марта, он завёл отдельный секундомер и передал его Кравцову. С этого момента у нас оставалось сорок восемь часов, чтобы проехать заданный цикл, устранить то, что можно устранить без снятия основных узлов, и предъявить машину комиссии своим ходом.

Первые шесть часов убедили нас, что машина недовольна почти всем. Кольцо сменялось булыжником, разгоны — дорожным маршрутом с двумя водителями. После блока можно было проверить уровни и крепления, но часы не останавливались: гайка, которую мы тянули десять минут, стоила ровно десять минут. Спор о виноватых получался слишком дорогим — по крайней мере, в теории.

На третьем круге булыжника лопнула нижняя петля инструментальной сетки. Гена прижал кассету коленом, мы заменили петлю ременной лентой и потеряли восемь минут. Я полез затягивать его крепление. «Ты всегда ближе к работе, которую увидел», — заметил Гена. Мы вдвоём держали одну гайку, пока я не отдал ключ и не занялся кассетой, где действительно требовались две руки.

Через сорок минут верхняя лампа легенды отразилась на ветровом стекле белым прямоугольником и закрыла правую кромку дороги. Я переставил её ниже, несмотря на возражение Кравцова, и после запуска обнаружил, что свет бьёт ему прямо в очки.

— Верните. Кожух сделаем после блока, а не вместо него.

Я вернул, потеряв ещё четыре минуты на собственную поправку. Гена записал в акте: «Неисправность — отражение. Время увеличено перестановкой исправной лампы». Фамилию не поставил. Она и так читалась.

После первого дорожного блока двигатель начал беднеть на длинной тяге. Гена проверил подачу и открыл багажник: кран дополнительного бака был перекрыт, основной почти пуст. На передаче я назвал общий остаток, но не положение кранов. Нужная строка карточки осталась пустой.

— Кто принимал? — спросил я.

— Я, — ответил Гена. — Ты сказал: топлива достаточно.

— В карточке есть кран.

— Есть. Оба не проверили.

Я ждал, что он добавит обвинение, но Гена уже полез к магистрали. Воздух в трубке мог оставить нас без подачи после переключения. Он открутил пробку, прокачал ручным рычагом, дождался чистого бензина. Левая кисть у него работала, но после долгого удержания отвёртки пальцы начали распрямляться по одному. Я протянул руку.

— Что держать?

— Шланг. И не вырывай, он на последнем хомуте.

Мы потеряли двенадцать минут и сохранили насос. Кравцов перечеркнул слово «исправна» в карточке передачи и написал крупно: «Краны вслух». После этого каждый водитель при смене должен был назвать положение обоих, даже если бак оставался один и все трое видели рычаг.

К двенадцатому часу появился гул от защиты картера. На определённых оборотах он входил в резонанс с кузовом, и салон начинал звучать, как пустая цистерна. Гена попросил держать четыре тысячи двести, потом четыре четыреста, нашёл узкий диапазон и потребовал остановку. Я слышал, что мотор работает ровно, давление не меняется, и решил дотянуть до планового бокса ещё девять километров.

— Кронштейн защиты, не двигатель, — сказал я. — Доедем.

— Я знаю, что не двигатель. Если кронштейн лопнет, лист подогнёт к поддону или он поймает дорогу. Стой.

— Девять километров ровного асфальта.

Кравцов опустил тетрадь.

— В прошлый раз вы приняли эту команду через минуту тридцать восемь.

— Сейчас я знаю причину.

— Тогда зачем вам механик?

Вопрос прозвучал спокойно, и потому ответить привычным раздражением не получилось. Я свернул к обочине. Гена лёг под машину, показал треснувшую кромку кронштейна и попросил жёлтый молоток. Кравцов подал синий ключ. Цветовая разметка пережила ночь, но не человеческую усталость.

— Синий — снизу, — напомнил он.

— Молоток жёлтый, потому что подвеска и защита, — сказал Гена. — Ты правильно ошибся.

Мы сняли лист, усилили кронштейн и поставили прокладку там, где металл бил по поперечине. Я держал защиту на груди, пока Гена затягивал; через две минуты ушибленные рёбра напомнили об аварии. Он молча принял большую часть массы на плечо. За двадцать семь минут мы вернулись на дорогу.

К концу первых суток от графика осталось только направление. Мы опоздали на два контрольных окна, один раз повторили участок из-за расхождения счётчиков и отключили вторую пару дальнего света до проверки: соединение грелось сильнее допустимого. В боксе я одновременно проверял ведомость Нины, давал Кравцову поправку к дистанции, спорил с Генкой о жиклере и требовал у электрика другой разъём. Все отвечали, но каждый разговор почему-то заканчивался тишиной.

На двадцать седьмом часу Кравцов обнаружил, что второй счётчик отстаёт на триста метров. Привод не проскальзывал; ошибку давала переставленная задняя шина, для которой коэффициент уже был в таблице. Он попросил пять минут, чтобы пересчитать следующий блок. Я забрал таблицу, посчитал сам и назвал поправку раньше него.

— Готово. Поехали.

Кравцов продолжал писать.

— Я проверю.

— Проверишь по дороге.

— Нет. До старта блока.

— Мы и так отстаём на час семь.

— Тогда не надо было переставлять лампу дважды.

Он сказал это без повышения голоса. Гена сидел на заднем пороге и разминал левую кисть ключом. Никто не посмотрел на меня, хотя оба ждали решения. Я сверил свой расчёт ещё раз — он был верным. Ошибка Кравцова могла стоить нам больше пяти минут, но сейчас ошибки не было. Мне хотелось не доверия, а признания очевидного: я уже посчитал, значит, повторять незачем.

— Две минуты, — сказал я. — Потом стартуем.

— Мне нужно пять.

— У тебя две.

Кравцов закрыл тетрадь, убрал карандаш и сел справа. Проверять по дороге он ничего не стал. Команды давал правильно, но исчезло то, ради чего я вообще позвал его в экипаж: он снова превратился в человека, который предупреждает один раз и заранее готовится замолчать.

Через час Гена попросил ограничить обороты четырьмя восьмьюстами до конца булыжного блока. Температура масла росла быстрее прежнего, хотя давление оставалось нормальным. Я посмотрел на отставание и разрешил пять тысяч двести на прямых. Он не спорил. Просто записал моё решение в журнал и пересел назад.

Машина выдерживала лучше людей. После каждой остановки я проверял уже проверенное, переставлял инструмент, уточнял цифры и лез под капот. Работа шла, разговоров становилось меньше. Так выглядели мои прежние команды перед большими гонками: идеальная дисциплина и люди, которые искали другое место сразу после финиша.

Нина догнала меня в переходе между боксом и лабораторией. За окнами лежала чёрная мартовская ночь, на стекле дрожало отражение аварийных ламп. Я нёс два журнала и собирался забрать новую ленту самописца, хотя это могла сделать дежурная смена. Нина отняла верхний журнал и прижала к груди.

— Куда?

— За бумагой. Через двадцать минут стендовый блок.

— Бумагу уже принесли.

— Тогда за запасной термопарой.

— Она в машине.

— Нина, часы идут.

— Поэтому остановись на минуту.

Я обошёл её, но она не двинулась с дороги. Пришлось встать. Из бокса через стену доносился неровный гул: электрик проверял дальний свет, генератор менял тон под нагрузкой.

— Что ещё?

— Ты собрал не экипаж. Ты нанял четыре собственных руки.

Фраза была слишком точной и оттого показалась заготовленной. Наверное, она носила её несколько часов, выбирая момент, когда рядом не окажется Гены с Кравцовым.

— Машина идёт. За двадцать семь часов ни одного критического отказа.

— Люди тоже пока идут. Только ты за каждого успел сделать его работу, потом проверить и объяснить, почему сделал быстрее.

— Кравцов хотел пять минут на расчёт, который занял у меня сорок секунд.

— И что ты выиграл?

— Четыре минуты двадцать.

— Нет. Ты выиграл человека справа, который снова решил, что спорить бесполезно.

Именно такого штурмана искал?

Картон журналов впился в ладонь. Хотелось перечислить сетку, лампу, бак, кронштейн и час отставания. Нина знала их не хуже меня и всё равно говорила о людях, будто проверка проводилась для них, а не для машины.

— Если я отвечаю за результат, последнее решение моё.

— Вот оно. — Она сказала это почти тихо. — Ты два месяца притворялся, что понял разницу, и при первой усталости вернулся туда же.

— Какую разницу?

— Между отвечать и распоряжаться. Кузов ты мне отдал только после того, как я согнула перед тобой железо. Гене разрешаешь остановить машину, если сам услышал тот же звук. Кравцову доверяешь, пока его расчёт совпадает с твоим. Всё остальное время они у тебя дополнительные приборы. Удобные, умные и без права отключить водителя.

Слова легли на знакомое место. Двадцать лет назад Кирилл дважды сказал, что отметка не сходится. Я тоже отвечал за результат, тоже считал быстрее и видел дорогу собственными глазами. Потом в отчёте осталось сочетание ошибки легенды и превышенного риска — аккуратная формулировка для минуты, в которую я решил, что живой человек справа всего лишь один из приборов.

— Что они сказали тебе?

— Ничего. В этом и проблема.

Из бокса донёсся короткий сигнал. Один раз, затем второй. Не авария — вызов оператора к стенду. Я шагнул было к двери, но Нина удержала журнал.

— Пусть разберутся.

— Это моя машина.

— Нет. Пока ничья. Если повезёт — станет вашей.

Мы стояли в переходе, слушая, как сигнал повторился и смолк. Через минуту дверь открылась. Гена высунул голову и сообщил, что электрик нашёл нагрев соединения второй пары света, снял нагрузку и ждёт решения. Я уже собирался идти, но спросил:

— Твоё решение?

Он задержался в дверях.

— Снять вторую пару вместе с проводкой. Пять килограммов долой, генератору легче, одна точка отказа меньше. Две фары и поворотный прожектор оставляем.

— Делай.

Гена не ушёл.

— Просто делать?

— Да. Запиши причину и массу. Разрешение моё тебе не нужно.

Он перевёл взгляд на Нину, понял, что попал в середину разговора, и закрыл дверь.

Я вернулся в бокс. Кравцов сидел за столом и перепроверял поправку, которую я заставил принять без проверки. Лист уже был готов. Я положил рядом секундомер.

— На следующем блоке право остановить старт по навигационной ошибке твоё. Без согласования со мной. Счётчики расходятся, расчёт не закончен, команда непонятна — мы стоим, пока ты не скажешь ехать.

Он снял очки.

— До каких пределов?

— До тех, которые считаешь необходимыми. В акт пишешь время и причину.

— А если решите, что я тяну?

— Решу после блока. На дороге исполняю.

— Это уже было на зимней проверке.

— Было, пока мне не понадобилось выиграть четыре минуты.

Кравцов посмотрел на чистый разворот своей тетради, затем записал новое правило. Под ним поставил время и попросил подпись. Я расписался. Он подвинул лист Гене, когда тот вернулся с кусками снятой проводки.

— Механик тоже должен иметь право остановить, — сказал я. — Любой звук, температура, давление, усилие на рычаге. Ты задаёшь предел оборотов. Я могу потребовать объяснение только после остановки.

— Если скажу четыре тысячи на прямой? — спросил Гена.

— Поедем четыре.

— А потом выкинешь меня из экипажа за трусость?

Вопрос был задан ровно, без вызова. Не его страх говорил — память о том, что произошло с прежним Виктором и теми, кто слишком поздно спорил с пилотом.

— Нет. Если ошибёшься, разберём ошибку. Если я не остановлюсь, уйдёшь сам. Ты уже поставил такое условие.

— Это Кравцов поставил.

— Теперь оба.

Гена взял карандаш у Леонида Аркадьевича и поставил подпись так крупно, что занял две строки. Потом ткнул в журнал.

— Тогда сейчас четыре восемьсот. Масло нагревается из-за защиты: после накладки поток под поддоном изменился. Не опасно, но до утра не разберёмся. На пяти двухстах получим сто десять градусов раньше конца блока.

— Четыре восемьсот, — повторил я.

Кравцов надел очки.

— До следующего старта семь минут. Мне нужно пять на окончательный пересчёт.

— Бери.

— Уже взял. Осталось три сорок.

Гена засмеялся первым. Не громко, но за последние сутки это был единственный звук в боксе, не связанный с неисправностью. Нина стояла у двери с журналом и смотрела на нас так, будто эксперимент наконец начал давать полезные показания.

Оставшиеся двадцать часов мы не поехали быстрее и отстали ещё на тридцать восемь минут. Кравцов дважды остановил старт: сначала из-за своей ошибки в таблице, потом из-за разницы счётчиков. Никто не напомнил ему цену первой проверки; во втором случае нашли ослабшую гайку привода, из-за которой погрешность росла бы с каждым километром.

Гена держал четыре восьмьсот, пока мы не сняли защиту, не отогнули воздушный канал и не вернули лист на место. Температура перестала ползти. На булыжнике он потребовал остановку из-за едва заметного удара сзади. Мы нашли не поломку, а плохо затянутый ремень запасного колёса. Раньше я бы назвал остановку лишней. Теперь записал: две минуты сорок секунд, предотвращено перемещение двадцати килограммов по багажнику.

Перед последней сменой Кравцов передал мне машину по карточке: два счётчика, поправка, оба бака, давление, температура, один слабый гул на сбросе и три вынутых инструмента. Я повторил всё вслух. Гена вернул инструменты на места и показал пустой контур отвёртки. Она осталась под капотом после проверки хомута. Нашли до запуска.

— Вот теперь машина исправна, — сказал он. — На ближайшие пять минут.

Финишный круг я вёл в сером утреннем свете. За двое суток трасса не стала сложнее, но руки чувствовали руль иначе. Справа Кравцов давал команды без прежней осторожной паузы, сзади Гена не ждал, когда его спросят о температуре. Мы пришли к контрольной линии с опозданием на час сорок пять относительно программы. Для отбора результат выглядел плохо. Для машины, собранной из остатка, — честно.

Гена хлопнул штурмана по плечу.

— Привёз, Лёня.

— Мы опоздали.

— Условие было приехать.

Кравцов поправлять его не стал.

Барсуков читал список недостатков дольше итоговой ведомости. Шестьдесят три пункта: от крепления сетки до кожуха лампы. Семь требовали повторной проверки, четыре — новой детали, остальные устранялись регулировкой, укладкой или дисциплиной. Дойдя до перекрытого бака, Семён Ильич посмотрел на нас поверх листа.

— Кто забыл?

— Оба водителя, — сказал Гена. — Один не передал, второй не проверил.

— А виноват?

— Карточка. Слишком мелкая строка.

Барсуков поставил галочку.

— Когда виноват шрифт, одного крайнего уже не ищите. Укрупнить строку, краны пометить тактильно. В темноте цвет бесполезен.

Вместо красивого отчёта мы предъявили сорванный график и больше исправлений, чем достижений. Сазонов проверил, не трогали ли мы детали основных машин, затем спросил массу. После снятой пары света и лишних кронштейнов осталось тридцать четыре килограмма сверх первоначального расчёта.

— На прямой они станут минутами, — сказал он.

— На плохой дороге могут стать целой машиной, — ответила Нина. — Из тридцати четырёх двадцать два приходятся на каркас, защиту нагруженных точек и фильтрацию. Вот

расчёт. Остальное — доступный инструмент и крепёж. Снять можно, но тогда изменится время ремонта.

Она положила перед ним два варианта. В лёгком рядом с каждой снятой деталью стояло время ремонта без неё. В тяжёлом оставались усиления, две полуоси, двухступенчатая фильтрация, защита трубок и наша укладка.

Сазонов не любил, когда ему приносили решение без выбора, и ещё меньше любил выбор без цены. Здесь цена стояла возле каждой строки. Он позвал Туманова, заставил прочитать оба листа и спросил, какой вариант тот взял бы себе.

Олег Борисович открыл багажник, дёрнул сетку, посидел на каждом месте и только после этого ответил:

— Тяжёлый. Если задача — доехать. Для скорости снял бы половину.

— У вас задача какая? — спросил Сазонов.

— Доехать быстрее остальных.

— Очень удобно сформулировано.

— Ваша работа — решить, что важнее, Пётр Михайлович. Моя — сказать, что на асфальте я у него выиграю.

Он кивнул на меня без неприязни. На асфальте выиграет. Шестая машина несла тридцать четыре килограмма решений, не добавлявших ни одной лошадиной силы.

— Оставляем тяжёлый вариант до отборочного маршрута, — решил Сазонов. — Но каждый килограмм получит номер. После проверки снимем всё, что не оправдало себя. Никаких святынь, Серов. Даже если деталь придумала Елагина или лично вы.

— Согласен.

Нина подняла бровь, но промолчала. Комиссия разошлась по машине. Кравцов показывал счётчики, Гена — укладку и точки перекрытия, я объяснял режимы. Отвечать на всё самому не требовалось, и в освободившейся тишине я услышал запуск нашего двигателя за стеной.

Нина тоже услышала. Мы одновременно пошли к двери и столкнулись плечами в узком проходе.

— Ты теперь всегда будешь уступать дорогу только после расчёта? — спросила она.

— У тебя есть расчёт?

— Есть наблюдение. За двое суток ты трижды извинился перед людьми и ни разу не умер.

— Один раз. Остальные два я признал ошибку.

— Конечно. Это совсем другое.

Она стояла близко; на щеке осталась чёрная полоса от перчатки, под глазами залегли тени после ночи. Я поднял руку, хотел стереть грязь большим пальцем и остановился на полпути. Нина не отстранилась. В цехе за дверью мотор набрал обороты, самописец застрекотал, и затем коротко сработал предупреждающий сигнал стенда.

Мы оба повернули головы.

— Давление? — спросил я.

— Скорее температура, — сказала она.

В следующую секунду мы уже открывали дверь. Оператор поднял ладонь: ничего опасного, всего лишь не закрепили крышку прибора, и контакт разомкнулся от вибрации. Нина защёлкнула фиксатор, я проверил ленту. Когда стало ясно, что мотор в порядке, возвращаться к прерванному движению никто не стал. Машина снова выбрала за нас — пока ей это ещё позволялось.

Сазонов нашёл нас у стенда через десять минут. В руках у него был лист телеграфной бумаги и тот самый отдельный секундомер, который он остановил на сорока восьми часах.

— Лондон ответил, — сказал он. — Освободилось место частного экипажа. Позднюю шестую заявку готовы рассмотреть без изменения общего числа участников.

Гена выпрямился у двери. Кравцов вошёл следом за Петром Михайловичем и сразу посмотрел не на телеграмму, а на срок внизу.

— Десять дней, — прочитал он.

— Стартовый взнос, документы, окончательный состав и подтверждение машины, — перечислил Сазонов. — Никаких «потом дошлём». Корнеев уже ищет деньги и людей, которые поставят подписи. Я должен решить, стоит ли их искать дальше.

— Сорок восемь часов мы прошли, — сказал я.

— На час сорок пять хуже программы.

— Без критического отказа.

— На машине, которая тяжелее расчёта и ещё не проехала ни одного отборочного километра против основного экипажа.

Он отдал телеграмму Кравцову, а секундомер оставил у себя.

— Через шесть дней контрольный маршрут: смешанное покрытие, ночь, нормативы и скрытые проверки. Туманов идёт на основной машине, вы — на этой. Докажете, что запас прочности стоит потерянной скорости, — подпишу состав. Нет — кузов станет донором.

Гена провёл ладонью по крыше. Краска здесь была только грунтовочной, на дверях не было номера, а в ведомости оставалось шестьдесят три замечания. Кравцов сложил телеграмму по сгибу и убрал в новую тетрадь.

— Шесть дней, — сказал он. — Это сто сорок четыре часа.

— До края света дальше, — отозвался Гена. — Но начать можно.

Я посмотрел на машину, которую мы сделали тяжелее, медленнее и живучее, чем она была на бумаге. Потом — на троих людей рядом. В этот раз мне не пришлось назначать им работу.

Кравцов уже открыл список замечаний, Гена снимал с крючка инструмент, а Нина красным карандашом вычёркивала устранённое. До подписи в заявке оставалось десять дней и один маршрут против лучшего заводского экипажа.

Глава 6. Билет на «Уэмбли»

К утру шестого дня красный карандаш Нины укоротил список с шестидесяти трёх пунктов до девяти. Исправной машина от этого не стала: три замечания мы закрыли признанием допустимого риска, а тридцать четыре лишних килограмма по-прежнему лежали в каркасе, защите, запасах и инструменте.

Остальные пункты Гена гонял по второму кругу. Он уже трижды проверил привод счётчика, заменил наконечник у генератора и всё равно не позволял закрывать капот, пока я вслух не повторил порядок баков, предел оборотов и давление на гравии.

— Четыре восьмьсот до первого контроля, потом по температуре, — сказал я. — Основной бак открыт, дополнительный закрыт. Давление два и одна десятая на шоссе, перед карьером сравним.

— Перед карьером не сравним, — отозвался Кравцов, не поднимая головы от маршрутного листа. Он точил второй карандаш, и тонкая стружка падала на карту ровными кольцами. — Топливный контроль после гравийного блока. Если полезем к колёсам раньше, наблюдатель запишет постороннюю помощь, даже если помогать будем сами себе.

Я посмотрел на время в верхнем углу легенды. До старта оставалось восемнадцать минут. Раньше мне хватило бы трёх, чтобы решить, что штурман цепляется к слову, а условия придуманы людьми, никогда не сидевшими в машине. Теперь пришлось выговорить другую фразу, менее удобную и потому полезную:

— Тогда начинаем на двух и одной. На разбитом участке потеряем сцепление.

— Сорок секунд, если не станешь доказывать гравию, что он асфальт. В норматив помещаемся.

— Если не поместимся?

— Скажу за пять километров. Тогда добавишь.

Гена костяшками трижды коснулся крышки клапанов, закрыл капот и вытер ладонь о штаны. За соседними воротами уже прогревался основной «Москвич» Туманова. Его двигатель звучал ровнее нашего и злее подхватывал газ; там стоял лучший из пяти отобранных моторов, новая коробка, импортные амортизаторы и всё то, что завод мог дать экипажу, который не нужно было придумывать за десять дней до окончания заявки. На дверях ещё не было стартовых номеров, но разница между машинами читалась и без краски. Олег Борисович вышел из бокса в чистом комбинезоне, застегнул манжету и подошёл к нашей машине, пока его штурман укладывал карты.

— Тридцать четыре? — спросил он.

— Не похудела, — ответил Гена.

Туманов надавил ладонью на правое крыло, будто мог определить массу по ходу подвески, затем заглянул сквозь стекло на наши два счётчика.

— На первом шоссе я от вас уйду. Не дёргайся, Серов. Там отыграть обратно нечего.

— Советуешь сопернику?

— Сберегаю машину завода. Если выиграю у кузова с вырванной стойкой, Сазонов заставит повторить отбор.

Он сказал это без улыбки. Туманов не собирался уступать мне место и не считал себя обязанным делать вид, будто шестая заявка нужна всем одинаково. Но и превращать контрольный маршрут в личную драку ему было незачем. Его положение зависело не от того, проиграю ли я, а от того, сколько советских машин доберётся до Мехико; эту арифметику Олег Борисович понимал лучше, чем хотел показывать.

Сазонов собрал нас у линии, когда над площадкой только начинало светлеть. Контрольный маршрут был разбит на шоссе, бетонку, гравий и ночное возвращение; между блоками

стояли топливные пункты и скрытые проверки средней скорости. Победителя определяли по штрафам: минуты давали и за опоздание, и за ранний приезд, а пропущенный контроль снимал экипаж с отбора. Сазонов держал свой отдельный секундомер в правой руке и почти не смотрел в записи.

— Основной экипаж идёт первым, — сказал он. — Серов — через четыре минуты. На маршруте вы друг другу не помогаете, кроме аварии или угрозы людям. Технические остановки ваши, решения ваши, последствия тоже. Машины должны вернуться своим ходом. Привезёте кузов на буксире — времени не считаем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.